

СЛОВО ДЕТЯМ БЛОКАДЫ

1941-1945

Г.Н. Гоцко

МЫ ЖИЛИ КОЛЛЕКТИВОМ

Я узнала о начале войны позже, чем все. Была на даче у подружки, на станции Поселок. Жили мы там с ней вдвоем и о войне узнали только на третий день. Уже не помню, как мы добрались до Ленинграда, но к тому времени ушли на фронт двое моих дядей, которые жили вместе с нами. Больше я их не видела. Они оба погибли. В первых числах июля ушел на фронт и отец — Николай Петрович Тимофеев. Остались мы одни женщины: мама, сестра, тетя. Мама и сестра вскоре уехали рыть окопы: мама под Левашово, сестра — под Кингисепп. Тетя тоже работала на оборонных работах и была на казарменном положении. На некоторое время я осталась одна, было мне тогда 14 лет.

В городе уже началась эвакуация, многие вокруг уезжали, а я живу одна и не знаю, когда вернутся мои близкие и вернутся ли. Единственным моим

полезным занятием были тогда дежурства у ворот дома. Бомбежек еще не было, и дежурства были спокойными. В конце августа вернулась с окопов мама, едва убежав от наступающих немцев на последнем поезде, побросав по дороге все свои вещи. Вскоре вернулась сестра, мы собрались все вместе, и уже стало не так тоскливо.

Мы, школьники, все ждали, когда же начнутся занятия в школе, но сентябрь наступил, а они не начинались. В сентябре в городе начались бомбежки. Я жила на канале Грибоедова недалеко от площади Мира в большом семиэтажном доме. Поначалу во время бомбежек жильцы собирались в вестибюле дома: бомбоубежища у нас не было. Потом уже поняли, какими наивными мы были, но пережидать бомбежки на миру было куда спокойнее. 8 сентября после отбоя воздушной тревоги



Галина Николаевна Гоцко, научный сотрудник Отдела Африки. Многие годы исполняла обязанности ученого секретаря МАЭ. В годы блокады — школьница. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

все вышли на набережную и смотрели на огромное зарево, как мы потом узнали, от горевших Бадаевских складов. С этого дня наступили печально известные 900 дней Ленинградской блокады, отмеченные обстрелами, бомбежками, голодом и холодом.

Школа открылась только в октябре. Я пошла в 8-й класс в свою 32-ю школу Октябрьского района. В классе большинство ребят были новенькие, занятия проходили то в классе, то в бомбоубежище. С наступлением холодов нас перевели в бомбоубежище, а учеников осталось меньше половины — к тому времени голод уже начал косить людей. После Нового года я тоже слегла, ослабла от голода, да еще простудилась. Здесь я никак не могу не вспомнить добрых и отзывчивых людей, наших соседей по дому. Мы жили на последнем, седьмом этаже, и наш дом одиноко возвышался среди соседних 4—5-этажных домов. Во время налетов кругом в садах, на площадках и в скверах стреляли зенитные орудия, и наш дом, как говорится, «ходил ходуном». Было очень страшно, а однажды к нам в окно попал большой осколок зенитного снаряда...

Так вот, к нам пришла одна из соседок и пригласила жить к себе в 11-метровую комнату на четвертом этаже. Так мы и перезимовали у тети Дуни-большой первую блокадную зиму. В этой комнате нас жило 6 человек, спали «валетом» по 3 человека на кровати, да еще одетые. А когда мы с мамой заболели и слегли, другая соседка из этой квартиры — тетя Дуня-маленькая, жившая вдвоем с дочерью, уступила нам свою кровать, и мы с мамой лежали там вместе. Проболели мы 2 месяца, но все же поднялись. Муж тети Дуни-маленькой работал на «Скороходе» и был на казарменном положении. Пока был жив, иногда приходил домой и приносил тюлений жир, который, кажется, использовали при дублении кож. Жир удивительно красивый, янтарно-желтый, но запах его трудно было переносить даже голодному человеку. Но все же жир, и им с нами делились в то страшное время. Этого забыть нельзя!

Попыталась я после болезни пойти в школу. От всех восьмых классов осталась горсточка ребят, но все же занятия продолжались. Я очень отстала, а наверстывать упущенное — не было сил. Так и пришлось мне пропустить учебный год.

В преддверии весны, пока еще не начал таять снег, всех подростков и взрослых, не занятых в производстве или в школе, мобилизовали на уборку улиц от снега и льда. Зима, как все знают, была лютая, снег не убирался, поэтому наледи на улицах высились в полметра толщиной. Выдали нам ломы, топоры, лопаты и «транспорт» — большой лист

фанеры, за два конца которой привязана веревка. Ломами и топорами мы скалывали лед, грузили на фанеру и волокли его к каналу Грибоедова. Нам еще повезло, мы жили на набережной: возить было недалеко.

Наш дом имел два двора. Во втором дворе образовалась ледяная гора из нечистот, доходившая до второго этажа. Люди зимой были не в силах выносить мусор и нечистоты и выбрасывали прямо из окон. И эту гору мы тоже раскололи и вывезли. Весь канал Грибоедова был завален льдом и снегом выше парапета. Поскольку мы раньше других управились с уборкой своей территории, нас послали помогать убирать Садовую улицу и в награду прокатили на платформе грузового трамвая, только что начавшего ходить. Я помню суровую, военную дисциплину во время работы. Выходили на работу и уходили строго по расписанию, стоять без дела не разрешалось. Уставали мы ужасно, но, вероятно, это было правильно, ибо дисциплина поддерживала наш тонус и не давала свалиться от усталости. Я до сих пор не могу понять, как голодные, истощенные люди проделали всю эту огромную работу по очистке города. Значение ее давно оценено по достоинству: весной в Ленинграде не было эпидемий.

Но нас, выживших в эту ужасную зиму, весной подстерегала другая беда — цинга. Моя мама просто слегла. Ноги распухли и стали твердыми, она не могла ни встать, ни пошевелить рукой. Спасли нас молодая крапива и лебеда, которые привозила нам тетка, работавшая в пригороде на посевной. Крапиву ели сырую, чуть посоленную, или варили из нее щи. Из лебеды пекли «лебединые» лепешки. Лебеду измельчали, добавляли в нее спитой чай или кофе-суррогат (которые тогда выдавали по карточкам) и лепешки пекли прямо на голой пайте.

Меня часто спрашивают, как мы выжили в блокаду. Мы все считали, что только благодаря маме — Клавдии Михайловне Тимофеевой. Мы ее очень любили и слушались, а она строго следила за тем, чтобы те продукты, которые мы получали по карточкам, делились поровну и съедались в два приема, утром и вечером. А еще — мы жили коллективом. И в комнате нас было 6 человек, и во время вечерних налетов мы всей квартирой собирались в прихожей. «На миру и смерть красна». Однажды бомба попала в один из соседних домов. Наш дом качался, погасло электричество. Было жутко. Мы подумали, что бомба попала в наш дом. Мне кажется, переживать такие минуты сообща все же легче. Мы всегда морально поддерживали друг друга, помогали и делились чем могли.

Весной мы перешли в свою комнату и лето прожили в ней. В апреле

или мае нас, школьников, пропустивших учебный год, распределили по другим школам, а нашу школу закрыли. Все лето и осень мы проработали в совхозе «Ланское». Поселили нас в местной школе человек по 20—30 в классе. Вначале работали на прополке моркови и свеклы. На соседнем поле подрастал салат, и конечно, мы, отощавшие и постоянно голодные, потихоньку рвали листья салата и ели их. Вероятно, я съела лист с землей, так как заболела дизентерией. До сих пор удивляюсь, как осталась жива. Вымотала меня болезнь до того, что шатало от ветра. По ходатайству сестры директор школы отпустил меня на две недели домой. Это был исключительный случай (мы жили в условиях военной дисциплины). На этом мои злоключения не закончились. Оправившись от болезни, я опять приехала на работу. Поскольку до совхоза можно было доехать на трамвае, то мы иногда «самоволкой» уезжали на ночь домой, проверить, живы ли наши родные и целы ли наши дома. И вот однажды, возвращаясь утром на работу, села я в трамвай, а он пошел не по Садовой улице, а свернул на Международный проспект (ныне Московский) и шел без остановки. Что было делать? Когда подъехали к Обуховскому мосту, я решила спрыгнуть с трамвая на ходу. Никогда раньше я не прыгала на ходу, но опаздывать было нельзя, и я решилась. Прыгнула на булыжную мостовую, упала и прокатилась на животе вперед. Как не попала под трамвай, не знаю. Встала, болит бок, содраны ладони, разбиты колени. Кое-как доковыляла до остановки трамвая и доехала до места. Там обратилась к врачу. Мне сделали два укола против столбняка, смазали ссадины йодом, перевязали колени и отправили на работу. Почему-то после всех моих злоключений сохранилось в памяти тоскливое чувство покинутости что ли, но это, очевидно, от того, что почти половина наших ребят летом 1942 года уехали в Ленинград эвакуироваться на Большую землю.

В совхозе мы работали до глубокой осени. За работу нам уплатили натурой. Мы получили морковь, капусту, брюкву. Конечно, понемногу, но и это было очень ценно. Существует такое мнение, что с лета 1942 года нам стало легче: прибавили хлеба и стали что-то выдавать по другим талонам. Но так говорят те, кто уехал из Ленинграда. Представьте себе, что мы, тогдашние дистрофики, стали получать не 125, а 200 граммов хлеба, немного крупы, а иногда даже масло и сахар. Это помогло нам выжить, но мы не были сытыми. Чувство голода у меня, например, исчезло только после окончания войны.

По возвращении из совхоза я стала учиться в 239-й школе, которая тогда находилась в здании, расположенном рядом с Исаакиевским собором. Она также построена Монферраном.

Когда сейчас я слышу от ребят, что они не любят свою школу, мне это кажется странным. Я обе свои школы вспоминаю со светлым чувством, так же, как и большинство моих сверстников. Руководители 239-й школы, директор В.В. Бабенко и завуч К.В. Ползикова-Рубец, все свои силы и время отдавали нам, обе любили ребят. С особенной теплотой мы, учащиеся, относились к Ксении Владимировне. Она беспокоилась не только о том, чтобы дать нам прочные знания (а преподавательский коллектив в школе подобрался замечательный), но и заботилась об организации нашего досуга.

В 1943—1945 годах в школе работал драмкружок, которым руководила сотрудник Дома творчества Н.В. Красовская. Все, связанное с этим кружком, — мои самые светлые и добрые воспоминания из того тяжелого времени. Запомнился спектакль «Урок дочкам» нашего знаменитого баснописца И.А. Крылова.

С 1943 года мы учились уже отдельно от мальчиков. Пытались мы пригласить в наш кружок мальчиков из соседней школы, но что-то у нас не получилось. Таким образом, в пьесе отца девиц заменили на мать, а остальные мужские роли играли девочки. Помню, как готовились к первому представлению. На сцене — гостиная барского дома. У нас она получилась как настоящая. Девочки тащили из дома различные вещи для создания интерьера вплоть до ковров. Квартира директора В.В. Бабенко была при школе. Она предложила взять нужную мебель, кое-какие мелочи. Костюмы мы брали в театральной костюмерной. Для того чтобы у «дочек» были локоны, мы на уроках сидели в папильотках. Вся школа ждала этого вечера и принимала посильное участие в его подготовке. Большой актовый зал школы был полон. Кроме учащихся и их родителей пригласили наших шефов — военную часть, в которой тогда служил молодой В. Стржельчик. Он неоднократно бывал на наших вечерах и выступал с самодеятельностью своей части.

Наш вечер прошел удачно. Ставили мы и другие спектакли.

Помню небольшую пьесу (к сожалению, не помню автора) под названием «Таланты из глубин». В ней было всего три действующих лица, пьеса динамичная, даже немного «детективная». Ее мы показывали не только на школьном вечере, но и неоднократно в различных госпиталях. Кружок наш работал довольно плодотворно и пользовался любовью зрителей.

Летом 1943 года наша школа выехала на огородные работы на станцию Ольгино. Работали сначала на прополке, а осенью — на уборке урожая. Жили мы на чердаке конторы колхоза, где рядами стояли

кровати. Небольшое помещение было отделено для преподавателей. И все было бы ничего, если бы не нашествие крыс по ночам. Как только мы ложились спать, они начинали бегать по полу и по кроватям. Мы старались с головой укрыться одеялами, выставляя наружу только нос. И однажды мы были разбужены криком из преподавательской комнаты: оказывается, крыса запуталась в волосах одной из преподавательниц, А.Л. Артюхиной, у которой были густые волосы. К счастью, все обошлось благополучно. Вспоминаю, как осенью убирали морковь, которая хорошо уродилась в тот год. Вставали рано утром и с рассветом шли на поле. Ботва моркови серебрилась от инея, а мы дергали ее голыми руками. Хотя и трудно нам было работать в то лето, но жили мы очень дружно, а в часы досуга — и весело, в чем опять же была заслуга Ксении Владимировны — начальника нашего лагеря.

А с осени — занятия в школе, опять драмкружок, выступления в госпиталях. В то время большое внимание в школе уделялось военной подготовке. Несмотря на то, что наша школа была женской, мы много занимались строевой подготовкой, стрельбой, метанием гранат и другими военными премудростями. Зимой 1943/44 года были организованы городские соревнования школьников по строевой подготовке, которые проходили между Садам отдыха и Театром им. А.С. Пушкина. Запомнились мне эти соревнования потому, что наш класс занял на них первое место. И еще двумя большими событиями запомнилась эта зима: нас приняли в комсомол и наградили медалями «За оборону Ленинграда». Вручение происходило в большом зале Дома пионеров Октябрьского района. Зал был полон школьников, которые в 14—16 лет получали правительственную награду. А летом 1944 года группу учащихся 9—10-х классов направили работать в пионерский лагерь во Всеволожск. Я была невелика ростом и не богатырского сложения, и пока тащила на себе 3 километра свои пожитки, произошло распределение вожатых по отрядам. На мою долю достался отряд из 44 мальчиков от 8 до 12 лет. Отряд расположили в небольшом двухэтажном доме в пяти комнатах. Ох и лихо же мне приходилось, особенно в «тихий» час. Бегала как угорелая с этажа на этаж, пытаюсь навести порядок. Однако мне повезло с преподавателем — учительницей пения. Она сумела организовать ребят главным образом на основе подготовки к смотру самодеятельности отрядов. Дело у нас наладилось настолько прилично, что мы с преподавательницей среди других были премированы. Я, помню, получила премию 100 рублей и купила себе фонарик, чтобы вечером было удобнее ходить по городу, особенно

в осенние пасмурные вечера, когда при светомаскировке было так темно, что приходилось ходить протянув вперед руку.

Это лето запомнилось большим напряжением всех сил. Рядом с пионерлагерем был лес, где недавно прошли бои и осталось полно боеприпасов: патронов, мин и т.п. А что такое мальчишки в 8-12 лет? Слишком много любознательности и не очень много ума. Им надо было разряжать мины, взрывать патроны, а мы отвечали за их жизнь. В нашем лагере лето прошло благополучно, а в других были несчастные случаи. В то лето погиб, разряжая мину, сын одной народной артистки СССР С.П. Преображенской.

Зимой 1944 года была снята блокада Ленинграда. С трудом верилось, что не нужно больше бояться обстрелов и бомбежек. А мы кончали 10-й класс, и нашему выпуску 1945 года впервые предстояло сдавать экзамены на аттестат зрелости. И если я правильно помню, мы сдавали 14 экзаменов! Но основные экзамены пришлось уже на мирное время, так как в мае кончилась война.

Я попыталась рассказать некоторые вехи нашей блокадной жизни. Всего не расскажешь, у каждого были и свои сокровенные, сугубо личные переживания. Память об этом времени навечно осталась в сердцах ленинградцев-блокадников.

Ю.В. Маретин

ОТКРЫТИЕ КНИГИ



Юрий Васильевич Маретин, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук. Занимался этнографией Индонезии. В годы блокады — школьник, помогал взрослым в дежурствах по защите дома от возможных попаданий фугасов. Собрал коллекцию книг, издававшихся в блокадном городе. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

О том, что началась война, я узнал в деревне с милым названием Любимово, которая стояла на холме в окружении полей и мелкокошья в десяти километрах от райцентра Осьмино и в восьми-десяти километрах на запад от Луги. Тут мы с мамой наслаждались теплом, которое принесло в обилии лето 1941 года, купались в просторах дедовского дома и сада. Здесь я со сверстниками — и деревенскими, и дачниками — был непременно наблюдателем, а нередко и участником сельских работ, которые воспринимались нами скорее как игра и потому никогда не надоедали.

С началом войны наше блаженство кончилось... Несколько тревожных недель — и вот 11 июля, как порыв шквального ветра, деревню оглушило известие: «Фашисты прорвались, идут на Лугу! Приказ всем уходить, скот угонять!». Уходили действительно под носом у врага: днем 12 июля проехали через Осьмино, а поутру на другой день туда ворвался передовой отряд фашистов.

Кончилось детство...

...Облик Ленинграда показался необычным: много людей в военной форме,

движение по-деловому сосредоточенное, тела аэроостатов, похожие на китов, и рядом с ними — тупорылые темноватые баллоны с газом (мы их потом звали не иначе как «колбасы»). Всюду шла работа по укрытию первых этажей мешками с песком, дощатыми щитами, между плоскостями которых засыпали тот же песок. Не сразу привык к искрещенным бумажными полосками окнам домов.

К первым впечатлениям от военного, насторожившегося Ленинграда в обилии добавлялись новые. Черты военного города как-то необъяснимо соединились с его обликом мирных дней, а растерянность июльских, тревога и напряженность августовских, щемящее беспокойство сентябрьских дней вдруг перемежались моментами удивительного внешнего покоя. Город, его дома, площади, улицы, казалось, начинали жить сами по себе и вели между собой беззвучный, только им понятный разговор о себе, о том, что происходило. Но таких моментов тишины становилось все меньше. Все чаще город оглушали рвущий уши вой сирен, отчетливое хлопанье зениток-скорострелок, глуховатые разрывы в воздухе, перемежаемые тонким, пронзительным звуком летящих «юнкерсов» и тяжелым уханьем взрывающихся бомб.

Я врался в этот город физически, как его частица. А заботы по защите нашего дома от возможных попаданий фугасок и, прежде всего, «зажигалок» (о снарядах сначала никто не думал) только усиливали чувство слитности с Ленинградом.

Я расскажу и о другом, совсем неожиданном открытии. Оно органично связано с моим городом военных лет. Это было открытие Книжки. Я вдруг обнаружил в моем городе изобилие книжных киосков и лотков, полных увлекательной литературы... Немалое количество столиков с книгами стояло на улицах города — в особенности на Невском. Вот строки из книги Н.С.Тихонова «Ленинградский год»: «В городе в огромном спросе книги. Освещенные керосиновыми лампами прилавки в магазине Госиздата, киоски старой книги на проспекте Володарского. Столики с книгами и брошюрами, расставленные по всему проспекту 25 Октября, — всегда окружены любопытствующими и ищущими. Книжные магазины полны покупателей...».

Обилие книг в военном Ленинграде объясняется просто. Ведь до войны город был крупнейшим издательским центром страны. В последние же предвоенные годы особенно много издавалось книг. Когда началась война и связи с остальной страной крайне усложнились, а потом и вовсе прекратились, огромное количество новонапечатанных книг осело в Ленинграде, став, как выяснилось в месяцы и годы блокады, серьезным духовным подспорьем для жителей, обреченных, как рассчитывали гитлеровцы, на уничтожение...

Даже в страшные своей неожиданностью и неопределенностью дни лета и осени 1941 года, когда, казалось бы, не до чтения было, ленинградцы по-прежнему интересовались книгой... Интерес вызывали те книги, которые как-то могли объяснить трагизм положения, отвлечь от сосредоточенности на наших неудачах, те, которые рассказывали о



*Одна из книг, изданных
в Лениздате в 1942 году.
Из библиотеки
Юрия Мартина.*

нашей жестокой борьбе и о наших успехах в этой борьбе, и, конечно же, те, которые были увлекательны и легко читались.

...Два дополнительных обстоятельства способствовали повышенному интересу к книге. Ведь большинство школ Ленинграда вынуждены были вскоре прекратить занятия. Дети оставались дома. Отцы были, как правило, в армии или на производстве с казарменным положением, а матери — сначала на оборонных работах, а потом также на том или ином предприятии и отсутствовали по несколько суток. Вот и пришлось нам самим заниматься себя, причем по мере наступления холодов и усиления голода ребята все чаще оседали в своих домах. Страшная блокадная зима поставила простую альтернативу: либо ты сосредоточишься на мыслях о еде, тепле, либо сумеешь отвлечь себя от нераз-

решимой проблемы еды, найдешь способ переключить себя на предмет, который как-то умиротворит физиологию голодающего организма, поможет сберечь остаток энергии... Книга стала для многих облегчением, а иногда и спасением. Я уверен, что это единственный случай в мировой книжной истории, когда дети в таком положении читали действительно собрания сочинений, и это было типичным для Ленинграда.

Вспомню несколько эпизодов. Уже не один месяц сижу я в дневное время у окна перед простым письменным столом. Я представляю собой подобие капустного кочана, вместо листьев у которого многочисленные одежки, включая и женский шерстяной платок на голове и плечах, а главное — уютнейший меховой мамин жакет. А на столе — книги. Они лежат стопками. Когда мы все поняли, что война затянула нас в свой омут всерьез и надолго, когда мое жизненное пространство свелось к кровати да месту за столом у окна, когда прекратились какие бы то ни было занятия в школе, — тогда отец сказал: «Ну, сынок, времени у тебя теперь много. Читай...». Это я и сделал. За одной книж-

кой перетащил на стол целую груду. Книги заменяли мне приятелей, игрушки, беготню, школу — все, все...

..Сегодня все как-то необычно. Изменилась мертвенная белая картина за окном... солнечные лучи пробили плотную блокаду облаков и заledenевшего воздуха и ворвались в комнату...

— Ну вот, сынок, дожили до солнышка, март подошел, — послышался слабый голос отца. Он слег от истощения на рубеже страшного января и ужасного февраля и лежал неделю за неделей, уставившись худым, зеленовато-желтым лицом в потолок. Так мы и жили: отец — на кровати, готовый к смерти, я — у стола перед окном, и мама — она была везде: и когда поправляла на мне одежки, и когда угощала фантастическим блюдом — оладьями из кофейной гущи, и когда стеснительно говорила: «Мальчик мой, возьми стул и пойдем на лестницу, в “буржуйку” нечего положить...».

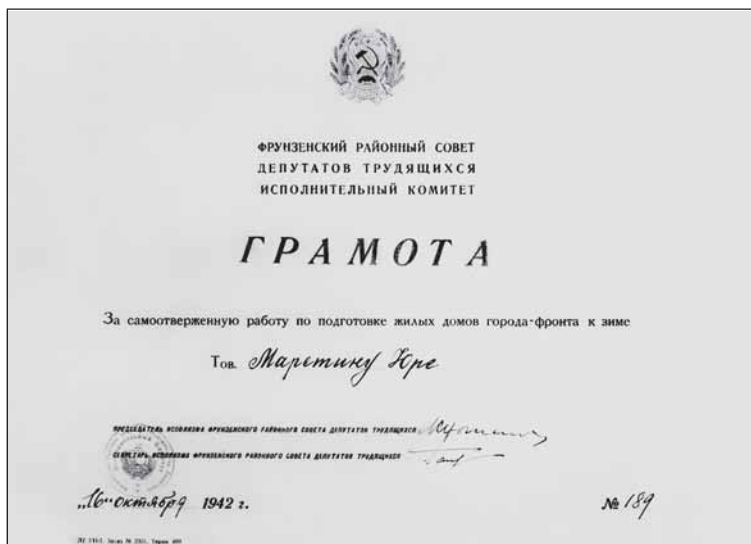
Свет, заполнявший комнату, ощущение тепла, — казалось, этого уже никогда не будет. Но это пришло: солнышко, сосульки, капель, весна. Ведь это жизнь! Я хочу на улицу!

Начался следующий этап блокадной мальчишеской жизни.

Когда осенью 1942 года мы — те, кто остался жив, — вновь собрались в школах, я не без удивления узнал, что не только я был погружен в чтение как в некую спасительную среду. Многие блокадные дети, оказывается, прошли через те же радости общения с книгой.

Еще весной этого года нас распределили по школам, поставили на регулярное ШП, то есть «школьное питание», стали готовить к занятиям. Нас было мало, все мы находились на виду друг у друга, с кем-то уже познакомились раньше, но все радовались от того, что живы. И поэтому, и потому, что за минувшую осень и зиму намолчались, мы подружились очень быстро, столь же быстро выяснили, чем человек интересуется, у кого какие родители и где они. Фронтальная служба отца сразу ставила мальчишку или девчонку на голову выше в детских глазах; об умерших от голода старались не говорить.

Очень быстро обнаружилось, что, наряду с общим для всех увлечением военным делом, немалую ценность имели для нас духовные начала. Конечно, мы щеголяли друг перед другом знанием типов самолетов и танков, наших и немецких, осведомленностью в образцах и калибрах оружия, в видах гранат и мин, умением разобрать и собрать винтовку и даже станковый пулемет. Конечно, мы хвастались собственными коллекциями военной техники и боеприпасов. Конечно же, у нас были — даже у девчонок — коллекции осколков... Но оказалось, что и прочитанные книжки и брошюры — хороший индикатор при



Грамота, выданная Юре Мартину за самоотверженную работу по подготовке жилых домов города-фронта к зиме.

установлении иерархии на лестнице мальчишеского престижа. Выяснилось также, что нельзя рассчитывать на авторитет в среде сверстников, не зная Дюма, Сенкевича, какого-то Крашевского. Потом я понял, что к этому надо добавить и многое другое — и в смысле чтения, и в смысле поведения, и в смысле оценок, и непременно надо было знать, где проходит линия фронта...

Вскоре мы прочитали трилогию о мушкетерах и другие произведения Дюма, затем много других интересных книг. Книги тогда жили удивительной жизнью: интересные обходили весь класс и нередко забредали в соседние классы.

Начитавшись приключенческой литературы, мы полюбовно распределили роли и присвоили друг другу имена любимых героев, причем иметь десяток имен казалось вполне естественным... Когда в среде близких друзей не находилось подходящей кандидатуры, «назначали» какого-нибудь одноклассника на эту «должность»... Бедные наши парты, они были изрезаны именами героев книг, увлекавших нас. Можно было прочитать лекцию по мировой литературе, пользуясь этими записями как именными указателями.

Поразительно, когда осенью 1943 года мы, мальчишки из 319-й школы, пришли в 321-ю школу, то и в ней мы встретились со здешним д'Артаньяном и его верными друзьями. Позже я узнал, что такие же «перевоплощения» происходили и в других школах. Ах, друзья-мушкетеры из школ блокадного Ленинграда! Встретиться бы нам однажды...

Обилие прочитанного и широкий круг чтения — характерные и яркие черты нашего книжного существования. Но еще более поразительной чертой была общественная отдача книги. Утверждаю смело, что ни в какие иные времена книга, брошюра, журнал, плакат, листовка не использовались столь интенсивно и столь коллективистски...

Как это было? Очень просто. Мы выпускали «боевые листки» и газеты. Тема «боевых листов» — текущие события на фронте, в городе; в стенгазете помещали более основательный материал, как правило, связанный с политическими и культурно-историческими датами... Для стенгазет требовались разнообразные изоматериалы: прежде всего, плакаты и листовки, вырезки из газет, иллюстрации или обложки брошюр, фотографии и многое другое.

Не час и не день нужны, чтобы рассказать о встречах с печатными изданиями в те неповторимые годы. Рассказывать об этом — в сущности переживать блокадные дни заново. Я вспомнил лишь несколько эпизодов, связанных с воспитанием и самовоспитанием книгой. Но эти эпизоды касались целых ребячьих коллективов, которые соревновались, кто больше прочитает и запомнит книг, использовали прочитанное в живой пионерской и комсомольской работе. И, разумеется, часто устраивали сборы книг для фронта, для госпиталей, потом для освобожденных районов...

Те, кто только вступал в сознательный возраст в эти годы, открыл для себя Книгу во всем богатстве ее содержания. И Книга щедро отплатила нам любовь к ней, помогая не только выжить, но и стать людьми.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ



Людмила Леонидовна Левизи, специалист-хранитель музейных коллекций по народам Африки, Индии, Кавказа, а также славянским народам. В блокаду училась в ремесленном училище и работала на военных заводах.

До войны я окончила шесть классов. Училась в 32-й школе Петроградского района, летом готовилась поехать в пионерлагерь. В то памятное воскресенье 22 июня 1941 года я со своими родственниками — дядей, тетей и двоюродной сестрой — собиралась ехать на острова, и вдруг... конец всем мирным планам. Дядя вместо островов отправился в свою воинскую часть, а мы с сестрой побежали в школу. Там собрались ребята, которые еще оставались в городе. Так повелось, что мы ежедневно собирались в школе, чтобы узнавать новости и получать задания.

Вскоре зашла речь об эвакуации детей. Нам, считавшимся уже старшеклассниками, поручили писать повестки, а затем разносить их.

И вот наступил день эвакуации. Мы уже знали, что нам предстоит ехать в город Боровичи. В назначенный день к школе подали автобусы. Вместе с нами поехали и родители, которые должны были нас сопровождать до места назначения и с теми же автобусами вернуться в Ленинград.

Доехали до Боровичей благополучно. Разместили нас в просторном деревянном доме, спать улеглись на полу. Нас, старших, назначили пионервожатыми к малышам. В этот день все мы были возбуждены и долго не могли заснуть. Младшие ребята просили рассказать им что-нибудь. Помню, я рассказывала им свою любимую сказку Андерсена «Русалочка».

Утром, едва доев на завтрак гречневую кашу, мы услышали автомобильные гудки и с удивлением увидели въезжавшие автобусы и сидящих в них наших мам. Оказалось, что, проведя бессонную ночь, встревоженные быстрым продвижением немцев, они поехали за нами и тем самым уберегли нас от оккупации.

Мы вернулись в Ленинград. Об эвакуации школы уже не было речи. Дядя предложил нам эвакуироваться в Читу к его родственникам, но мама наотрез отказалась уезжать куда-либо из Ленинграда.

Занятия в школе пока не возобновлялись. Затем нашу школу оборудовали под госпиталь, а нас перевели в другую, на улицу Мира. Пока не было занятий, мы ходили в свою старую школу и помогали устанавливать оборудование для госпиталя. В нашу обязанность входило очищать от смазки никелированные детали и инструменты для операционной. Когда эта работа кончилась, я ходила дежурить в пункт первой помощи, который находился в школе на улице Мира, там училась делать перевязки. Такие пункты создавались во многих районах города — шел сентябрь 1941 года.

Первые налеты, бомбежки, обстрелы, пожары и разрушения! Сперва они не вызывали страха, только любопытство. Помню, как мы с подружкой из ее комнаты на пятом этаже наблюдали воздушный бой где-то в стороне Каменного острова. Не было страшно и тогда, когда дежурила с тетужкой на крыше нашего дома или когда шла через Кировский мост и вдруг увидела вынырнувший из тучи тяжелый самолет с белыми крестами, так низко летевший, что была видна голова летчика. На мосту я не слышала сирен воздушной тревоги и только миновав его, под свистки и крики дежурного милиционера была сопровождена в убежище — щель на Марсовом поле. Там уже было полно народа, в укрытие поместились только мои ноги. Сама я сидела на краю щели и смотрела, как в небе кружились самолеты и били наши зенитки, отражая налет. Повезло — осколки меня не задели. А вообще-то бомбоубежищем, как все ленинградцы, мы пользовались только первое время, а потом просто прятались в парадные или подворотни, если тревога заставала на улице, и выходили на лестницу, если были дома. Наш дом непосредственно от бомбежки не пострадал, зато соседний был разрушен прямым попаданием фугасной бомбы. Вот это было страшно! В тот момент я была дома, и мне показалось, что вдруг наступила ночь. Рот и глаза были полны пыли и песка, уши заложило, пол заходил под ногами, рамы влетели в комнату, осколки стекла впились в дверь, к которой я была откинута. К счастью, они меня не поранили.

После очередной бомбежки и пожара на Бадаевских складах все заговорили о голоде. Были уменьшены нормы выдачи хлеба по карточкам, других продуктов просто не было. Хлеб обычно выкупала мама и, как большинство ленинградцев, забирала его вперед, стараясь большую часть дать мне. Иногда мама могла принести с работы жмыхи — она тогда работала на маслокомбинате. А нам в школе давали дрожжевой

суп. Вот и вся наша еда. Помню, в те дни читала и перечитывала без конца «Князя Серебряного» А. Толстого — тот отрывок, где описывался пир, и удивлялась, как можно было столько съесть. Чувство голода оставалось очень долго, оно не покидало меня даже в эвакуации, когда нас уже кормили регулярно.

Занятия в школе начались поздно осенью, а в январе 1942 года и вовсе прекратились. Пришли мы как-то утром в школу, а нам говорят: не приходите больше, некому вести уроки. Я поняла, что единственный учитель, который вел в школе уроки, умер. Если не ошибаюсь, его фамилия была Козлов, до войны он преподавал физику в старших классах.

На комбинате, где работала мама, работа тоже кончилась — не было сырья, но ей надо было регулярно являться в контору, чтобы получать продовольственные карточки. Как-то рано утром мы с мамой отправились с Петроградской стороны на Садовую, к Апраксину двору, где помещалась контора.

Зима была лютая. Почему-то надолго запомнилась такая картина. Яркое солнце, синее небо, иней на деревьях, а на снегу на корточках сидит мужчина, глаза открыты, как будто отдыхает. Но увы... это была очередная жертва голода.

Пока мама ходила на работу, я всегда к ее приходу разжигала «буржуйку» и кипятила воду. Она приходила, не раздеваясь протягивала руки к огню, стараясь согреться. И вот однажды смотрю: лицо у нее распухло, как будто налилось водой. Существовало мнение, что отечность появлялась оттого, что очень многие ленинградцы, чтобы заглушить чувство голода, брали на язык немного соли и запивали горячей водой. Так у мамы появилась эта отечность или иначе, но вскоре она слегла.

Наступило самое тяжелое время, мы с мамой перестали сопротивляться, лежали, согревая друг друга, экономя силы. Слушали радио, чтобы не пропустить сообщение о выдаче продуктов. Наконец этот день наступил. Рано утром, магазин в нашем доме еще был закрыт, но люди уже стояли в очереди и ждали открытия. Я тоже встала в очередь, вдруг вижу: мимо, по улице Скороходова, едут грузовики, закрытые брезентом. Ветер на мгновение откинул брезент на одном грузовике, и я увидела, что кузов заполнен трупами. Женщины стали говорить, что такие грузовики проезжают здесь каждое утро и направляются за город. Я сосчитала машины, их было одиннадцать.

В самое тяжелое время, которое неизвестно чем кончилось бы для нас, пришли на помощь родственники — мои тетушки. Подкормить они нас, естественно, не могли, но стали следить, чтобы мы не залеживались, вставали и двигались, ибо жизнь — это движение. А одна из них посо-

ветовала мне обратиться в райком комсомола и попросить направление в ремесленное училище. Так я и сделала. Пошла в райком, что на улице Скороходова, и получила направление в ремесленное училище. Для того чтобы получить медицинское свидетельство о здоровье, надо было проехать несколько остановок на трамвае по Кировскому проспекту до больницы имени Филатова. И вот тут произошло неожиданное: я не смогла поднять ногу, чтобы войти в трамвай. Со слезами от собственного бессилия пришлось брать ногу руками и ставить ее на подножку, дальше войти мне уже помогли пассажиры.



*Людмила Левизи — учащаяся
ремесленного училища.*

Направили меня в ремесленное училище при заводе «Красногвардеец», что на Аптекарском острове. Этот завод в мирное время изготовлял медицинские инструменты, а в войну стал работать на оборону. Наконец-то в моей жизни наступил перелом в лучшую сторону. Самое главное — я попала в коллектив, появился интерес к жизни, настроение стало другим. Была весна 1942 года.

Мы учились на слесарей, работали для фронта — делали финки. В училище нас кормили, дали рабочую карточку и вдобавок еще соевое молоко, которое я могла приносить маме. Мы пили это молоко впервые. Помню наших мастеров — преподавателей, пожилого Варнелло и молодого Капирухина. В перерывах между занятиями мы выходили в садик, где цвели акации, и лакомились сладкими желтыми цветочками. Обычно за нами выходил Варнелло и говорил: «Ну, козы, пора на занятия!». Вообще весна всех выручила лебедой, крапивой, из которых варили супы и делали лепешки.

В июне 1942 года нам вдруг объявили, что училище должно эвакуироваться в Куйбышев. Отказываться от эвакуации нельзя. Самое тяжелое было расстаться с мамой — ехать со мной она категорически отказывалась, как я ее ни уговаривала. Говорила, что будет ждать, что мне будет куда вернуться, что на ее рабочую карточку уже дают 800 граммов хлеба, жить можно и т.п. Но, увы, примерно через месяц после моего отъезда, 25 июля 1942 года, мамы не стало. Тетушки потом

мне рассказывали, что первое время мама сидела на солнышке у парадной дома и вязала. Однажды, обеспокоенные ее отсутствием, они открыли дверь в комнату... но было уже поздно. Похоронили мою маму, Ульяну Исаевну, как и многих ленинградцев, в братской могиле.

Теперь коротко о моей дальнейшей судьбе. От Московского вокзала на поезде нас довели до Ладоги и там погрузили на баржи. Расположились мы в трюме, а наверху, на палубе стояли замаскированные орудия. Была сильная жара, у многих началась цинга и голодный понос. Вонь в трюме стояла ужасная. Меня тетушки предупредили: я должна есть понемногу, чтобы избежать неприятностей. Я выдерживала. Несколько раз нас бомбили, мы подолгу стояли, укрывались в камышах. Когда мы наконец причалили к берегу, нам сказали, что, оказывается, немцами были потоплены два транспорта, шедшие впереди и после нас.

После долгого пути в теплушках, а затем на пароходе, прибыли мы в город Куйбышев. Когда нас выгрузили на пристань, то местные жители приходили на нас смотреть. Многие плакали и приносили из дома кто что мог из съестного. Все мы были дистрофики и выглядели соответственно.

Разместили всех прибывших в каменном здании школы. Спали на нарах, здесь же были учебные классы, учили нас уже токарному делу. Но прежде чем начались занятия, нас отправили до осени в подсобное хозяйство, чтобы подкормиться и помочь с уборкой гороха. Началась учеба и практика на часовом заводе в Куйбышеве, где в то время делали часовые механизмы для мин. Потом работали на авиазаводе на станции Безымянка.

К ленинградцам все относились очень сочувственно. Когда у меня, как и у многих девочек из нашей группы, на почве длительного недоедания открылся туберкулез желез, я получила усиленное питание, т.е. дополнительно масло и сахар.

Между тем, обстановка на фронте становилась все напряженнее. Немцы подошли к Волге. В Куйбышеве стало тревожно. Жизнь в нашем училище замерла, было не до нас. Как-то в горькую минуту собралась вся наша группа, и решили мы написать письмо с просьбой о досрочном выпуске нас на самостоятельную работу. Адрес был короткий: Москва, Кремль, И.В. Сталину.

Вскоре к нам прибыл специальный представитель. Было принято решение направить нас дальше в тыл, в г. Омск. Там я работала токарем на авиазаводе, делали мы клапаны для авиамоторов. Проработала я на этом заводе до 1945 года. В Омске встретила долгожданную победу. А в Ленинград вернулась в 1946 году.

Ф.Д. Люшкевич

БЛОКАДНЫЕ ГОДЫ

Как известно, события с начала войны развивались стремительно. Уже в августе началась массовая эвакуация школьников из города. Все были в полном смятении: рекомендовалось заранее собрать вещи, в том числе и теплые, хотя у всех была твердая уверенность, что уезжать придется очень ненадолго. Помню, как мама в полном оцепенении перебирала одежду, вышивала на шерстяном одеяле мою фамилию (это одеяло и сейчас сохранилось), а отобрав все необходимое, сложила в холщовый, специально для этого сшитый мешок. Мешок отнесли заранее в мою школу № 220 Куйбышевского района.

Отправили нас сначала в Малую Вишеру, разместили в школьном здании. Многие из нас впервые были разлучены с родными, на какое время — тогда никто не знал. Грустные и неприютные, ходили мы по пустым классам чужой для нас школы. Но, к счастью, скучать долго не пришлось. Через неделю после нашего появления в Малой Вишере ситуация на фронте изменилась в худшую сторону. Немецкие самолеты стали летать над поселком, можно сказать прямо над нашими головами, и из пулемета расстреливать людей. Весть об этом мгновенно долетела до Ленинграда, и родители кинулись за нами. Так закончилась моя первая «эвакуация».

В Ленинграде в это время уже шла массовая эвакуация населения. Папа работал старшим бухгалтером в военном госпитале, расположенном в здании бывшей гимназии на ул. Восстания, и мы должны были уехать вместе с госпиталем. Дома шли неторопливые приготовления — мама очень страшилась отъезда из дома, тем более, что мысль о сдаче города фашистам казалась невероятной. Но момент отъезда настал, мы были погружены в товарные вагоны и отправлены... Но было уже поздно, двое суток кружили по каким-то путям. Все дороги оказались перекрыты, и мы вернулись в Ленинград, уже блокадный.

Жила наша семья в большой коммунальной квартире на Лиговке, угол улицы Жуковского. Квартира была на последнем, пятом этаже. Из окна открывался вид на палисадник перед детской больницей имени Раухфуса, а несколько левее — на Греческую церковь, на месте которой сейчас концертный зал «Октябрьский». Наша комната была угловая, холодная и сырая. Поэтому с наступлением первых холодов блокадной зимы мы перебрались в квартиру моего дяди на 8-й Советс-

кой. Квартира эта имела (в тех условиях) огромные преимущества: второй этаж, окна во двор (безопаснее от артобстрела), одна из комнат этой квартиры была совсем маленькая, ее легче было отапливать. В этой квартире прошла первая, самая жестокая зима.

Как только мы обосновались на новом месте, маму — школьную учительницу по профессии — стало заботить мое дальнейшее обучение. По прописке мы принадлежали к Куйбышевскому району, а единственная действовавшая там школа находилась на Невском во дворе кинотеатра «Колизей». Я поступила в эту школу. Хорошо запомнился путь в школу той поры. Он шел по 8-й Советской, Суворовскому проспекту до площади Восстания и далее на Невский. Путь был нелегким в ту зиму в самом прямом смысле слова. Дорога представляла собой узкую тропинку среди высоких сугробов, доходивших мне иногда до пояса. Идти было тяжело. На ногах высокие валенки, поверх шубки мама повязывала мне большой шерстяной платок. Путь прерывали частые «тревоги», тогда дежурные из ближайшей подворотни затаскивали меня в бомбоубежище, после сигнала «Отбой» я отправлялась дальше. Пересекая площадь Восстания (бывшую Знаменскую), я проходила мимо развалин взорванной перед самой войной Знаменской церкви (на этом месте ныне станция метро «Площадь Восстания»). Окна близлежащих домов, заклеенные еще в мирное время перед взрывом церкви полосками бумаги, смотрели на нас как бы живым укором; а проходившие мимо развалин церкви старушки останавливались и неистово крестились.

Помню то щемящее чувство, с которым мы ждали прихода друг друга в школу: пропуск занятий мог быть далеко не случайным. Помню нашего учителя математики, который приходил на занятия опухший от голода, а однажды не пришел... Во время уроков все внимание главным образом было сосредоточено на ожидании грохота над бомбоубежищем: это по первому этажу волокли для нас из соседнего ресторана «Универсаль» бидон с так называемым супом (отчетливо помню вкус очень жидкого макаронного отвара). Но все равно это была дополнительная еда. И я думаю, что родители, отправляя нас в то страшное время в очень небезопасный поход по городу, имели в виду и эту подкормку.

Очень запомнилась мне встреча Нового года. Мама где-то выменяла какую-то вещь на банку американских консервов. На столе появилась белоснежная скатерть, а посередине поставили эту банку. Но когда открыли ее, там оказались опилки. Зато в городе для школьников новогодняя «елка» отмечалась с невероятной для тех условий роскошью.

В «Александринке» (Театре им. А.С. Пушкина) для нас была сыграна оперетта «Свадьба в Малиновке». А после спектакля нас повели в «Метрополь» и накормили самым настоящим обедом (я запомнила гречневую кашу с котлетой и на третье фруктовое желе).

С приближением весны все стало вокруг понемногу оживать. Папа потребовал перебраться обратно в нашу комнату на Лиговке, уверяя, что в темной клетушке на 8-й Советской ему не поправиться. И мы, собравшись с силами, вернулись к себе. Это, правда, усложнило наш и без того нелегкий быт — воду надо было брать из люка, что находился на соседней улице, и подниматься к нам на пятый этаж. Но обилие солнечного света в родных стенах придавало всем новые силы. Да и в рационе появились первые витаминные блюда из крапивы, лебеды, отвар из хвои. Забегая вперед, скажу, что осенью мы — школьники, работавшие летом на огородных работах за городом, могли собрать с полей оставшиеся после срезки капусты кочерыжки и зеленые листья — хряпу. Мама насолила целую бочку этой хряпы. Бочка стояла около нашей кровати, и на паркетном полу, словно на память, остался от нее след.

В школу начиная с апреля—мая стали возвращаться ученики, пропустившие занятия в блокадную зиму. Я вспоминаю эту пору как одну из счастливых в моей жизни. Именно тогда у нас сложились те тесные дружеские отношения, которые потом продолжались всю жизнь. Начались школьные реформы, в том числе и раздельное обучение девочек и мальчиков. А я и мои подруги сами выбрали себе школу и остались неразлучными.

Летом 1943 года нас, школьников, отправили на станцию Кузьмово на полевые работы. Поселили нас в помещении бывшего свинарника и разрешили для своих нужд разбить вокруг небольшой огород (по маленькой грядке на каждого). Эти выезды на летние работы в пригородные совхозы очень поддерживали наше здоровье: мы прямо на грядках ели пропальываемые овощи (морковь, турнепс), а совхоз кормил нас по пайку не детской, а рабочей карточки и дополнительно давал молоко.

Уже с осени 1942 года занятия в школах постепенно наладились. Зимой мы, старшеклассники, вели шефскую работу в военных госпиталях. Наш подшефный госпиталь находился в здании Александро-Невской лавры. По ночам мы сидели около тяжелораненых, кормили их, писали письма, а также помогали сестрам готовить тампоны и т.п. Часто устраивали концерты: кто пел, кто читал стихи. Я специализировалась на чтении рассказов М. Зощенко. В городе в это время жизнь

постепенно восстанавливалась. Наряду с Театром оперетты стал работать Драматический театр имени Горького. Мы просмотрели по нескольку раз все спектакли, знали всех актеров. Удивительно быстро стали восстанавливаться разрушенные здания. Школа, в которой мы учились в 10-м классе, находилась на Полтавской улице. Из-за непосредственной близости улицы к Московскому вокзалу она сильно пострадала еще при первых бомбежках. Много домов стояло как бы срезанными по вертикали, с обнаженными лестничными клетками и беспомощно болтавшимися по ветру обрывками разноцветных обоев. Но уже после прорыва блокады картина стала меняться. Начались интенсивные восстановительные работы.

Победный май застал нас за подготовкой к экзаменам на аттестат зрелости. Все мы жили в обстановке всеобщего радостного возбуждения. К радости победы прибавилось предвкушение предстоящего праздника окончания школы, к которому мы все усиленно готовились.

И вот этот праздник наступил. В торжественной обстановке нам вручили аттестаты, затем был концерт, на который пришли актеры из Театра оперетты.

А потом встал вопрос — кем быть? Наша школьная учительница посоветовала нам пойти на восточный факультет Университета. Верные нашему школьному единству, трое из нас последовали ее совету и подали заявление на иранское отделение.

Я считаю, что мне повезло. В Университете мне довелось учиться у таких замечательных учителей, как члены-корреспонденты АН СССР А.И. Фрейман и М.Н. Боголюбов, А.З. Розенфельд, а здесь, в Институте, — у докторов исторических наук Н.А. Кислякова и Е.М. Пещерской. Особенно я благодарна Е.М. Пещерской. Представитель блестящей школы русской востоковедческой науки, она сумела привить своим ученикам любовь к этнографии, передать нам ценные навыки полевой работы.

И последнее, что я хочу сказать, — очень многие ценностные ориентации моих коллег — представителей молодого поколения блокадного Ленинграда — сформировались благодаря той суровой школе жизни, которую мы прошли в юношеские годы, а также под воздействием замечательных представителей ленинградской науки.

Г.У. Михайлова

«ТАК, С МАЛОЛЕТНЕЙ СЕСТРЕНКОЙ МЫ ОСТАЛИСЬ ОДНИ...»

Лето 1941 года началось у меня, как и у большинства ленинградских школьников. Кончились занятия в школе — да здравствуют каникулы! Я перешла в пятый класс 2-й школы Василеостровского района и с родителями, братом и сестренкой собирались уехать в деревню. Но планам нашим не суждено было свершиться.

На семейном совете решили сразу — эвакуироваться не будем. Папе шел уже 65-й год, здоровьем он похвастаться не мог, а маме одной с тремя детьми уезжать не хотелось.

Так уж получилось, что вскоре я стала «старшей» в семье, так как все хозяйство держалось на мне. Папа слег, мама тоже болела и не могла выходить из дома. Сестренке было 4 года, брату 15 лет, но он, как ученик ремесленного училища при заводе Калинина, работал там, почти не бывая дома. Завод выполнял военные заказы.

Мне приходилось стоять в очередях за теми продуктами, которые выдавались по карточкам, менять вещи на хлеб или что-либо съестное, готовить скудную еду, доставать дрова. Я же выполняла обязанности за всю семью по дежурству у ворот дома, на крыше и т.д. Помню, мое дежурство на крыше совпало с бомбежкой зоосада. Я страшно испугалась огромного зарева пожара, решив, что огонь поглотит весь город.

15 января 1942 года не стало моего отца — Ульяна Михайловича Михайлова. С большим трудом мама и брат вдвоем свезли отца на Пискаревское кладбище. Брату это стоило последних сил — он слег и больше уже не поднялся. В первых числах мая мне помогли устроить брата в больницу, затем в госпиталь, но спасти его не удалось. Вскоре мой брат Константин умер. Маму Марию Матвеевну я оплакала еще в апреле.

Так, с малолетней сестренкой мы остались одни. Три месяца еще кое-как продержались, а потом, крепко взявшись за руки, боясь, что нас разлучат, пришли в детдом. В августе 1942 года нас вместе с детдомом эвакуировали.

В Ленинград вернулась в октябре 1944 года. Жизнь пришлось начать сначала.

А.И. Мухлинов

В ЖИЗНИ МОЖНО ЗАБЫТЬ МНОГОЕ, НО БЛОКАДНЫЕ ДНИ — НИКОГДА



*Анатолий Иванович
Мухлинов в годы блокады
(вырезка из газеты).*

«Никто не забыт и ничто не забыто»... Да и можно ли забыть о тех 900 днях, когда наш любимый истекающий кровью город не только выдержал невиданную в истории блокаду, но и победил. Трудно пришлось тем, кто сражался, работал и жил в Ленинграде в то суровое время. Прошло столько лет после снятия осады, а память по-прежнему удерживает пережитое...

Война застала меня школьником, перешедшим в шестой класс. Ушел на фронт отец, а вместе с ним и мое детство. Старшие братья уже работали на оборонном заводе, туда же решил поступить и я. До сих пор помню 26 марта 1942 года — первый день работы на заводе. Огромный инструментальный цех, сквозь разбитые взрывными

волнами стекла окон и крыши влетают и, медленно кружась, ложатся на пол снежинки. Ровные ряды станков безмолвствуют, покрытые слоем льда, и лишь над отдельными из них склонились закутанные рабочие. Слесарно-лекальный участок помещался в небольшой комнате Красного уголка. Несмотря на красневшую у дверей печурку, было холодно, рабочие поочередно грели озябшие руки: ведь пальцы лекальщика должны быть такими же чувствительными, как и пальцы музыканта. Мне шел четырнадцатый год, и я не мог дотянуться до тисочных губок: пришлось встать на снарядный ящик. Голод делал свое смертельное дело: на работу не выходил то один, то другой слесарь, но оставшиеся работали почти круглосуточно, обеспечивая необходимым инструментом производство 122-миллиметровых снарядов и мин. Наш завод не подводил фронтовиков.



Анатолий Иванович Мухлинов, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук, первый отечественный вьетнамист, ведущий специалист в области этнографии и истории Вьетнама. В годы блокады подростком работал на заводе, выполняя военные заказы. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

27 января 1944 года на позиции вражеских войск обрушились десятки тысяч снарядов. И среди них было немало полторапудовых «гостинцев», сделанных руками рабочих и работниц нашего завода. Гул артиллерийской канонады грозным, но радостным отзвуком доносился до всех ленинградцев — дочерей и сыновей Великой Родины.

В жизни можно забыть многое, но блокадные дни — никогда.

К.Б. Серебровская

Я НЕОХОТНО ВСПОМИНАЮ О ВОЙНЕ...



Кира Борисовна Серебровская, главный художник МАЭ. Автор иллюстраций к более чем 60 изданиям. Консультант и оформитель многих тематических выставок. Всю блокаду провела в Ленинграде.

Я неохотно вспоминаю о войне, о блокаде — много можно рассказать, но это так мучительно...

Война началась, когда я окончила пятый класс школы № 43 Октябрьского района. Школьников до седьмого класса нашей школы эвакуировали. Я по семейным обстоятельствам не выехала в назначенный день. А другого дня уже не было...

Учащиеся 7—10-х классов начали ходить в школу 1 сентября, а 1—6-е классы, оставшиеся к городу, были распущены и переводились на «воспитательную работу» при домохозяйствах. Числились мы помощниками бойцов МПВО пожарной команды дома, в котором я жила на Театральной площади, дом 2. Наш пост располагался в бомбоубежище. Оттуда мы по расписанию ходили на дежурства на лестничные клетки и крыши. Нам приходи-

лось тушить зажигательные бомбы. Те, которые удавалось потушить, мы сбрасывали вниз, а если бомбу потушить мы не смогли, ее приходилось зарывать в ящик с песком.

Весной у нас появились новые обязанности, очищать улицы и дворы от накопившихся на них нечистот. Самое тяжелое воспоминание было связано с тем, что приходилось из-под снега и льда вытаскивать трупы людей. А потом мы получили еще задание — обходить квартиры и выявлять умерших и по возможности вытаскивать их на лестничные площадки. Оттуда их забирали бойцы МПВО и отвозили на специальных машинах. Приходилось вместе с дружинницами возить трупы для кремации в специально отведенные места улиц. Такие «погребальные костры блокады» возникали во многих районах города. Один раз я сопровождала машину на Кирпичный завод, печи которого в

первую же блокадную зиму были превращены в крематорий. Сейчас на этом месте находится Московский Парк Победы. С нас взяли расписки о неразглашении тайны крематория на Кирпичном заводе. По сути дела, мы выполняли работу взрослых дружинниц. Зная это, они делились с нами своим пайком и даже хлебом.

Отца не пустили на фронт — был оставлен, как многие архитекторы, на маскировку города. Во время одной из бомбежек пострадал угол Мариинского театра и наш дом. Мы переехали в бомбоубежище АПУ (Архитектурно-планировочное управление), а потом на стационар Союза архитекторов (Герцена, 52).

Все, что пришлось пережить и увидеть, чувствовать и просто жить в те годы, мне кажется, оказало влияние на выбор моей профессии. В 1945 году я поступила в только что открывшееся Высшее художественно-промышленное училище (теперь им. Мухиной) на первый курс. В этом году я отдала свои детские рисунки ныне реабилитированному (после «ленинградского дела») Музею обороны Ленинграда.

Я не вела дневника. Но записи есть. Вот некоторые из них.

Зима 41/42 года

Узнаю весь процесс «архитектуры наоборот» — искусство маскировки. На «стенах»-щитах разрушенных домов рисуют окна и двери, а крыши красят в зеленый цвет (газоны). Между «домами» прокладывают «улицы» — «дорожки» посыпают песком настоящим.

«Сегодня видела, как академик Александр Сергеевич Никольский начал подготавливать целую серию набросков Триумфальной арки для встречи героев, освобождающих Ленинград... Значит, скоро снимут блокаду...»

Май 1942 года

«Бригада моего отца обмеряла Александро-Невскую лавру. Эта работа нужна для будущего нашего города — охрана памятников. Уговорила взять с собой. Самое главное пройти Невский — мало сил! Стояли много в подъездах во время тревог, в бомбоубежище идти нет сил и времени.»

«...В покоях митрополита районный штаб МПВО, в боковых флигелях — госпиталь. Лесов нет — доски сожгли на дрова. Архитекторы работают со стремянкой. Страхуют веревками.»

Старушки у Лавры крестятся. К обстрелам привыкли, а за чело- века с рулеткой не страшно...».

«Заводскую железную дорогу около Лавры задекорировали под Неву, создали водонепроницаемое «корыто» (из всего что попало...) и залили все водой. Даже очень красиво!».

«Охтинскому мосту придали вид разрушенного бомбежкой. Архитекторы выигрывают бескровную битву за мосты Ленинграда всеми способами!».

Осень 1942 года. Стационар архитекторов

«Появляются подрамники генерального плана Ленинграда, и, хотя город еще фронт, уже проектируют новый Гостиный Двор и многие гражданские здания, говорят о новом центре города по проспекту Стачек!.. Неужели центр будет там?».

Ноябрь 1942 года

«Начата работа по восстановлению разрушенных зданий. Осуществление первых проектов идет необычно. На фанере в натуральную величину рисуют будущие фасады. Развалины “одеты” разрисованными фанерными щитами, и дома стоят макетами своего будущего, доставляя авторам редчайшую возможность проверить в натуре достоинства и недостатки проекта... Так на Невском, 30; улица Гоголя, 4 — это первые ласточки возрождения».

*Стационар гостиницы «Астория»,
творческой интеллигенции Ленинграда*

«Отец находится здесь после контузии. Пустили к нему. Медсестра оставила на концерт меня. Концерт будет после “обеда”, и меня покормят тоже. Тихими шагами, еле-еле перебирая ногами, подошел к роялю В. Софроницкий. Играл Рахманинова, Чайковского, Скрябина, до этого “играл” на нарисованной клавиатуре. “Играл” каждый день, даже когда лежал.

После концерта все отложили ему по ложке своего “обеда”. В. Софроницкий с трудом согласился взять...». На всю жизнь В. Софроницкий остался для меня самым любимым пианистом.

Т.К. Шафрановская
БЛОКАДНАЯ ДРУЖБА

До войны я кончила шесть классов. Жила наша семья на Васильевском острове, папа — Константин Илларионович Шафрановский — работал в Библиотеке Академии наук. Вскоре после начала войны он вступил в народное ополчение. Дома остались бабушка, мама и я. Вначале я посещала школу на 8-й линии, училась в седьмом классе. Но занятия в школе были нерегулярными — некому было учить оставшихся в живых детей. Замену умершим учителям находили с трудом. К примеру, за зиму 1941/42 года сменилось семь учителей физики. Но несмотря на перерывы в занятиях, школьники продолжали приходить в школу в надежде получить тарелку «блокадного» супа.

Мы все сильно голодали. 1 марта 1942 года умерла моя мама — Тамара Васильевна, а 23 марта — бабушка. Соседи, которые ухаживали за нами в самое тяжелое время, увезли их на кладбище. Я осталась одна, о папе тогда ничего не знала. Вскоре ко мне зашла

знакомая девочка Ада Луговцова (впоследствии — заместитель главного редактора газеты «Ленинградская правда» А.К. Варсобина). У нее умерли все родные, некому было хоронить, и они остались лежать в ее квартире до весны. Я оставила Аду у себя, и мы стали друзьями на всю жизнь.

В конце марта 1942 года папу отпустили на побывку домой, а вскоре по состоянию здоровья демобилизовали. Папа привез с собой сухари, которые помогли поставить нас на ноги. Папа вернулся на работу в БАН и прикрепился на питание в академическую столовую, где без карточек давали дрожжевой суп, жмыхи и дурандовые конфеты. Жить стало легче. Летом 1942 года вместе с частью сотрудников БАН мы эвакуировались из Ленинграда.



Тамара Константиновна Шафрановская, историк Музея XVIII века, кандидат исторических наук, автор многочисленных научных и научно-популярных работ, путеводителей по Музею, а также по этнографии народов Австралии и Океании. В годы блокады — школьница, оказавшаяся в те суровые годы одна без родственников.

МЫ ДОЖИЛИ ДО ПОБЕДЫ



*Соня Болдырева — школьница.
Награждена медалью «За
оборону Ленинграда».*

Сейчас, когда с начала войны прошло более полувека — целая жизнь! — трудно, просто невозможно всем своим существом снова почувствовать те страшные дни, — неужели это действительно я прошла через голод, темноту, холод, гибель близких, ежеминутную смертельную угрозу — через все то, что теперь привычно называется «блокада». Но ведь блокада — это и продолжавшаяся жизнь, учеба в школе, общение с родными и подругами, это свои маленькие радости и печали — наряду с тем огромным, что происходило вокруг. Мне трудно ощутить себя той блокадной девчонкой, но то, что я помню, попробую изложить.

Лето сорок первого начиналось для меня радостно и благополучно. Уже не первый год мы снимали дачу на станции Карташевская по Варшавской дороге, в просторном литфондовском доме. Здесь все было знакомо и мило — и чудесные грибные леса, и большой сад с крокетной площадкой и фруктовыми деревьями, и подружки, с которыми мы встречались каждое лето...

И вдруг — сокрушительное известие: война! По детскому легкомыслию — мне еще не исполнилось и двенадцати лет, — сначала оно воспринялось, скорее, с любопытством: ведь недавняя финская кампания непосредственно нас не задела, так что слово «война» не казалось слишком грозным. Видимо, и взрослые не все предвидели: помню, как папа, приехавший к нам в тот же день, обсуждал с бабушкой вопрос о том, что нам следовало бы пожить на даче — вдруг Ленинград будут бомбить, а здесь, в глуши, спокойнее.

Но планы быстро изменились: скоро приехала мама, которая в это время была с артистической бригадой на юге, в Дагестане, и, возвращаясь, первая из нас столкнулась с картинами войны — разбомбленными эшелонами, ранеными, разлученными семьями. В это тяжкое

время надо всем быть вместе — и нас с бабушкой быстро вывезли обратно в город. И вовремя: когда на другой день папа отправился на дачу, чтобы привезти вещи (в том числе и продукты, которые брали на лето), оказалось уже поздно: поезда не ходили. А как пригодились бы нам те несколько килограммов крупы и масла, которые так и остались в Карташевке! Кстати, так и не успел выехать из Карташевки привязанный к тяжело больной матери предвоенный кумир ленинградской оперной публики, замечательный певец Н.К. Печковский.

Город встретил нас необычным лицом: заклеенные крест-накрест окна, серебристые стратостаты, какой-то иной, чем прежде, настрой... Маму отправили на оборонные работы на Оредеж (потом в их окопы прыгнули немецкие парашютисты, а строившие их артисты несколько дней и ночей пробирались лесами до города). Дни стояли жаркие, ребята проводили их на дворе. Но с каждым днем ряды наши редели. Началась эвакуация, мои подружки стали разъезжаться. Но пока еще было ожидание, тревога — и только. А начиная с сентября жизнь стала круто меняться. Даже трудно себе представить — теплый, еще сытый август, и уже первые голодные смерти в ноябре.

Запомнилась первая бомбежка в сентябре сорок первого. Сколько их было потом! — к ним привыкли, перестали бояться. А сначала было жутко: толпа народа в нашем подвале, тяжелые, еще непривычные и пугающие удары, отвратительный свист бомб. Потом говорили, что раз услышал этот свист — значит, бомба уже пролетела, опасность позади.

И началось: каждый вечер в одно и то же время — налеты. Немецкая педантичность! Все уже знали, когда начнется налет, и спускались в бомбоубежище, пробегая под ослепительными разрывами фугасок и воем зажигалок узкое пространство от парадной до подвала. Там регулярно встречались все оставшиеся, еще не эвакуированные жильцы дома — до войны мы мало знали друг друга, а тут все перезнакомились, приходили с одеялами и подушками, укладывали детей, вполголоса разговаривали, гадали, где упала бомба...

Довольно скоро, когда бомбежки стали обычными, когда голод и холод выработали равнодушие к ним, в бомбоубежище перестали ходить, разве что тревога застанет на улице, так дежурные загонят под землю. Но надолго сохранилось чувство близости, братства у тех, кто вместе встречал первые налеты. Эта теплота осталась и в послевоенные годы. Правда, тех, кто выжил в Ленинграде или вернулся из эвакуации, остались единицы.

С осени в конце октября, начались занятия в школе. Моя старая школа на Социалистической улице! Ее уже окончили мои сыновья. Я

с трудом могу сказать, сколько времени продолжались уроки в самой школе, мне больше помнятся занятия, перенесенные из ее замерзших классов в маленькую комнату на первом этаже нашей парадной — ее хозяева уехали из Ленинграда, а их комнату использовали как класс. Комната небольшая, но и учеников было мало, и становилось их с каждым днем все меньше; но учителя, пока могли, проводили занятия. Помню последний урок — когда пришли мы вдвоем, с моей приятельницей из нашего же дома: больше занятий не было до лета сорок второго.

А жизнь становилась все труднее. Помню мучительное ощущение холода — была еще осень, не началась печально знаменитая зима сорок первого, но уже до боли мерзли ноги: ведь тогда не носили теплых сапог, а шерстяных носков и полуботинок было мало. С тех пор остались следы на всю жизнь — даже при слабом замерзании краснеют и болят руки и ноги. Становилось все хуже с едой. Был период, когда мы прикрепляли карточки в ресторане «Националь» (на Невском, у Московского вокзала), — в начале войны так поступали многие. Это был первый ресторан, в котором я была, зал выглядел торжественно, но на нарядной посуде подавали крошечные порции, которые не снимали ощущения голода. Это ощущение будет длиться еще долгие месяцы...

Продолжались бомбежки и обстрелы, но они как-то стерлись: ведь неумолимо надвигалась, и надвигалась очень быстро, более страшная опасность — голод. Нормы становились все меньше, теперь я понимаю, как же стремительно шло их уменьшение, если уже к концу ноября они достигли своего предела, печально памятных ста двадцати пяти грамм! Давно было съедено все, что можно было найти в уголках буфета. Пытались менять вещи на продукты, благо Кузнечный рынок был рядом. Потом этот рынок вошел в нашу жизнь надолго.

Особенно плохо было отцу. Мужчины стали умирать раньше, а папа был к тому же очень высокий — ростом почти два метра, да и за плечами у него были нелегкие испытания: пять лет Соловков, вместе с другими университетскими учеными... Он страдал в тяжелой форме расширением вен, и сердце не было готово к таким лишениям. Отец, Александр Васильевич Болдырев, был доцентом кафедры античной филологии Ленинградского университета. Во время войны он стал начальником пожарной команды в университете, и, несмотря на холод и голод, на то, что транспорт перестал ходить, каждый день отправлялся пешком в университет — от Пяти Углов, через Дворцовый мост. Хотя мама и бабушка старались как-то его подкормить, выменяв крохи на рынке, он стал таять на глазах. Помню высокую его фигуру, на кото-

рой висела одежда, худое, какое-то заострившееся лицо. Я по возрасту еще полностью не сознавала надвигавшейся опасности, но старшие прекрасно видели все. Но что было делать?

И вдруг — проблеск надежды: на Литейном открыли стационар, чтобы поддержать силы умирающих от голода ученых. Отцу выделили место. Ходил он уже с большим трудом, его вывели под руки, я провожала его до улицы. Мама отправилась с ним. Вернулась воодушевленная, полная надежд: ему дали глоток вина, покормили, он уснул. А наутро он не проснулся: дистрофия третьей степени, ничто уже не могло его спасти. Отец умер 25 декабря, ему было сорок пять лет. А в этот день была первая прибавка по карточкам — правда, только на бумаге; очень редко выдавали что-нибудь, кроме хлеба, в эти страшные зимние месяцы, многие талоны так и остались невырезанными.

Страшные десять дней — от 25 декабря до 5 января. Мама решила любой ценой похоронить отца, чтобы у него была своя могила. А любой ценой — это значило ценой хлеба. Не знаю, как ей удалось по крохе, отрывая от своей и бабушкиной порции (меня берегли), что-то выменивая, набрать тот кусок, за который наш дворник — кстати, очень славный человек, Иван Егорович, который после войны много лет приходил нас проводить, — помог нам свезти папу на Волковское кладбище и похоронить его. Как долог казался путь до кладбища! Теперь-то оно, оказывается, в центре, и совсем недалеко от нас. Но тогда мы шли несколько часов. Кроме нас с мамой и Ивана Егоровича, папу провожал его племянник А.Н. Болдырев (востоковед-иранист) со своей матерью. Мой двоюродный брат еле тянул ноги, а его мама три месяца спустя тоже скончалась от голода. Кажется, тогда впервые я увидела по пути на кладбище страшные штабеля мертвых тел — у Крестовоздвиженской церкви на Лиговском проспекте. Туда свозили умерших от голода и потом хоронили в братских могилах.

А дальше начинается казавшаяся бесконечной страшная пора тьмы, голода и холода. Но раньше — один маленький штрих, который тогда прошел малозамеченным, но теперь кажется мне замечательным. В это тяжкое время, когда жизнь замерла, словно кончаясь, вдруг пришли из школы — звать на новогодний праздник. Небольшое число оставшихся учителей нашли в себе силы, чтобы хоть как-то порадовать своих ребят. Я не пошла в школу — еще лежал непохороненным отец, но знаю, что детям даже приготовили подарки — что-то из еды, что могло быть дорожке тогда?

Итак, блокадная зима в нашем осиротевшем доме. Разъехались последние родные. В феврале через Ладогу эвакуировался папин брат и

сестра с дочерью, которые жили в одном с нами доме. Дядя умер по дороге от голодной дизентерии, а с сестрой мы встретились только через двадцать лет.

Мы собирались уехать с университетом, но университет эвакуировался уже после смерти отца, и мы остались в Ленинграде. Сложился свой особый блокадный быт. Еще раньше, когда начались бомбежки, жильцы верхних этажей спускались вниз — там считалось менее опасным. И у нас, на втором этаже, бывали соседи по лестнице. Помню, как одна старая женщина очень долго ночевала у нас. Приходили со своими кусочками хлеба, грели воду, вместе пили чай.

У нас была двухкомнатная старая квартира. Жизнь сосредоточилась в одной комнате — топить всю квартиру было невозможно. Сначала где-то покупали отдельные поленья, иногда куски бревен; помню ужасный толстый чурбан, который мы с бабушкой пилили тупой двуручной пилой несколько дней. Затем жгли то, что было в доме. В комнате, в центре, была поставлена чугунная печурка — буржуйка, которая, оказывается, хранилась где-то в дровяном сарае еще с гражданской войны. От нее по комнате шла длинная труба, которая выходила в печной дымоход. Позже кто-то сделал нам простую жестяную буржуйку, которую можно было топить просто бумагой. В то время у бабушки были приступы печени, нужны были грелки. Вся жизнь сосредоточивалась вокруг буржуйки. Как же было холодно в доме! — четыре, пять градусов... До войны наши комнаты были обставлены по старинному уютно, теперь же стены были голые — картины, зеркала, безделушки были убраны внутрь диванов от бомбежек, окна почти не пропускали света: вместо выбитых стекол была набита фанера, которая еще долго оставалась там. Вторая наша комната была наглухо закрыта, в кухне царил мороз.

Вся жизнь тогда проходила в комнате. Выходили на улицу редко — только чтобы попытаться что-то выменять (это делали старшие), достать воды (напротив, в бывшей прачечной был кран, который иногда работал; или брали воду из Фонтанки, или просто топили снег). Конечно, еще стояли в очередях за хлебом. Ох, эти бесконечные очереди, в которых стояли часами, меняясь, отпуская друг друга домой погреться! Продолжались они и ночами — утром каждый занимал свое место. И волнение: привезут хлеб или нет? Бывало и так...

Больше всех двигалась мама. По профессии пианистка, она с бригадами артистов даже в самое страшное время ездила на концерты в госпитали и военные части, на такие близкие передовые позиции. Мы ждали ее со страхом и надеждой. После концертов артистам обычно

давали тарелку жидкого супа, а если был кусочек хлеба, мама все несла домой. Занималась она и с девушками из МПВО, ходила к ним на Васильевский остров через город. Помню ее рассказы об этих девушках, которые исполняли тяжелейшую мужскую работу — разбирали дома после бомбежек, откапывали засыпанных и еще находили в себе силы петь в хоре.

Длинные холодные, темные дни и вечера. И главное занятие — чтение. Сколько было перечитано за это время! У нас дома была неплохая библиотека, многое, конечно, погибло, было сожжено, но читать было что. А с весны начался бурный обмен книгами для чтения между ребятами. Но это — позже.

А пока, зимой сорок второго, было проблемой добыть хоть какой-то свет, чтобы долгие мучительные вечера можно было скоротать за чтением. Опять — рынок: на какие-то вещи из прежней жизни мама и бабушка выменивали что придется — самодельную свечку, стакан керосина. Самое привычное — маленькая, мигающая в холодном воздухе (каждое дыхание вызывало ток воздуха) коптилка, рядом с буржуйкой. Вокруг — все домочадцы (кроме нас еще моя тетка с маленькой двоюродной сестренкой и кто-нибудь из соседей). И чтение — до самого сна. Наверное, с тех пор у меня безнадежно испорчены глаза; и от рождения не очень хорошие, они не могли выдержать испытания коптилкой. Читали каждый свое и читали вслух. Читали классику (тогда я узнала «Войну и мир», романы Гончарова и Тургенева и многое другое), читали приключенческие и даже рыцарские романы, читали — часто вслух — стихи (помню чтение стихов Гюго на французском языке). И, конечно, читали то, что издавалось в блокированном городе, — «Цитадель» Кронина, «Красное и черное» Стендаля и еще многие, многие книги. Что бы мы делали без чтения? Именно оно спасало от тоски, от постоянных мыслей о хлебе, о том, что еще ждет нас.

Однообразие как бы застывшей, затемненной жизни иногда нарушалось появлением других людей. К нам заезжал один дальний знакомый или родственник — капитан, воевавший под Ленинградом, приезжал прямо из окопов. Перед войной мы были мало знакомы и после войны тоже потеряли друг друга из вида. Но во время блокады наша семья оказалась для него единственной близкой в городе, и когда он получал увольнительные, бывал у нас. На фронте тоже было голодно, он старался хоть что-нибудь привезти, что-то рассказывал. Спали все в той же комнате, и я помню, как я иногда пугалась, когда ночью просыпалась от его крика — команд, возгласов. Он и во сне продолжал воевать.

Несколько раз приезжал к нам — пожалуй, это было несколько позже — с ближних позиций бабушкин племянник Петя, которого она никогда не видела (он родился в далекой Сибири, где два бабушкиных брата были лесничими), но сразу полюбила его как родного. Он был рядовой солдат, скромный, хозяйственный, — как только появлялся в нашем доме, где не было мужской руки, сразу что-то подправлял, приколачивал, чинил. Он рассказывал, что его несколько раз хотели отправить на лейтенантские курсы, но он не мог согласиться: лейтенанты гибнут первыми, а он очень хотел выжить, должен был выжить, он был единственной опорой многодетной семьи. Вскоре он погиб в бою.

Запомнился еще один визит. Постучали — это было в самое темное, страшное время, — я открыла дверь (тогда открывали всем — не приходило в голову бояться этого), вошел человек, немолодой, заросший, укутанный во что-то. Прошел в комнату, попросил о чем-то — поесть или попить. Он казался не совсем в себе. Его поили чаем, а он вдруг стал читать греческие стихи — на древнегреческом. Потом ушел — насовсем. Кто он был? Думаю, он не случайно пришел в нашу квартиру, — ведь отец занимался Грецией, у него немало переводов с греческого. До сих пор живет в душе этот грустный эпизод.

Казалось, вечно будет зима. Жизнь затихла, замерла в темных, замороженных комнатах. Мы даже не знали, сколько народу осталось во всем доме, кроме нашей лестницы. Но всему приходит конец. Для меня переход к новому этапу блокадной жизни, — уже связанному с другими людьми, с внешними впечатлениями, — связан с тем прекрасным днем или днями в конце марта, когда оставшиеся в живых ленинградцы вышли на улицу, чтобы расчистить город, свои дворы. И у нас во дворе собрались все, кто выжил. Не помню, чтобы люди поразили меня своим видом, — наверное, потому, что мы уже привыкли к дистрофикам. Помню другое: то радостное, товарищеское единение в общем труде, — думаю, что такого чувства больше я никогда не испытывала. Вышли все, кто мог шевелить ногами, хотя никого не принуждали.

С тех пор жизнь в значительной степени перенеслась наружу, прежде всего, во двор. Засидевшиеся в холодных, продымленных комнатах ребята жадно тянулись к воздуху и солнцу. У нас всегда был хороший двор с зеленым садиком и даже с фонтаном. Но во время войны двор действительно стал нашим вторым домом. Прежде всего, на заднем дворе, где до войны были по бокам дровяные сараи, которые сторели в первые месяцы блокады, все жильцы стали дружно устраивать огороды. И у нас были свои грядки. Что мы там сажали — не очень помню, но знаю, что выросла у нас в основном мокрица. Но какой же вкусной

была она! Я всегда с благодарностью вспоминаю эту мелколистную сорную травку, даже когда теперь выпалываю ее на даче. С нею варили суп, ее прибавляли в скудную пригоршню пшена, ее жевали в сыром виде. Теперь, в длинные летние дни, все жильцы, особенно по вечерам, собирались у своих грядок и копались в них, щедро делясь небольшим опытом огородничества. Где тогда только не было огородов! У наших родственников были грядки в Ботаническом саду. Позже маме дали участок на станции Бернгардовка, на той единственной железнодорожной ветке, по которой ходили поезда. Мы там были дважды (видимо, это было лето сорок третьего) — когда что-то сажали и когда приехали за урожаем — той же мокрицей.

Весной или в начале лета открылась школа. Собрали оставшихся детей, начались занятия. Состав нашего класса был очень пестрым: кое-кто был из наших ребят, были и переведенные из других школ, в том числе и из тех, которые работали и в блокадную зиму. В школе организовали школьное питание — как-то поначалу эти завтраки вспоминаются больше, чем уроки. Голод-то по-прежнему не отступал. Прозанимавшись с нами месяца два, умерла от дистрофии старенькая учительница литературы Ольга Владимировна. Запомнилось, как один мальчик, с которым я училась еще до войны, с забавной фамилией Головешко, после еды вылизывал тарелки своих соседей (и так выскобленные дочиста). Вскоре изголодавшийся мальчик умер от дистрофии.

Лето прервало начавшиеся занятия. Ребята устраивались кто как — кто на площадке при школе, кто вокруг дома. А я оказалась во Дворце пионеров — с ним мои следующие военные годы были тесно связаны. Еще перед войной я занималась там музыкой, а теперь, после блокадной зимы, оказалось, что во Дворце собирают бывших учеников (и, конечно, берут новых), что там будут идти занятия, а летом ребята будут весь день проводить на площадке (туда нужно будет прикреплять свою продовольственную карточку) и только вечером возвращаться домой.

Меня несколько пугало такое пребывание вне дома — я была очень домашним существом. Но мама и бабушка решили, что там, может быть, нас немного подкормят, да и им хотелось, чтобы я не забывала рояль. Я стала ходить во Дворец, так продолжалось и дальше, и о Победе я узнала во Дворце.

Начался еще один этап жизни. Каждое утро мы — большая группа ребят разных возрастов — собирались в знакомых, еще в детстве поразивших воображение дворцовых помещениях: в нашем распоряжении были боковые флигели (а позже там был госпиталь) и главное здание.

Все, как прежде, — и все иначе. Раньше я приходила туда два-три раза в неделю на час, теперь Дворец стал моим вторым домом. И опять — естественно для блокадной памяти — первое воспоминание о еде. До войны, когда меня водили на уроки, обязательно заходили в буфет — это было неприменное удовольствие. Там пекли знаменитые пончики, горячие, пышные, обсыпанные сахарной пудрой, готовили их, кстати сказать, на хорошем масле, — уже в коридоре стоял удивительно вкусный дух, который дразнил аппетит вполне благополучных довоенных ребятишек. И вот — первый день на площадке, зовут к завтраку. Знакомая обстановка, на фарфоровой посуде подают пончики — сжалось сердце, а пончики оказались шротовыми...

После замкнутой зимней жизни я оказалась в большом ребячем коллективе. Нас не выпускали за пределы двора и сада Дворца — дети были разного возраста, а в городе опасность подстерегала постоянно — шли обстрелы, возобновились бомбежки. Администрация отвечала за своих питомцев. Постепенно наладился ритм жизни. После долгой молчаливой зимы не могли наговориться. Девочки рассказывали друг другу то, что прочитали, особенно за зимние месяцы. Я впервые именно в таком устном пересказе узнала «Графа Монте-Кристо» и другие увлекательные истории. Учились вязать, пели хором и занимались в своих кружках. Видимо, занимались не очень усидчиво — ведь мы целый день были во Дворце, учить заданное было трудно, инструментов на всех не хватало, а домой мы попадали только вечером. Но постепенно занятия приобретали организованный характер, мы готовились к концертам, олимпиадам. Наши ребячьи бригады выступали в госпиталях, детских домах, даже как-то довелось выступать (играя в четыре руки) по радио. Здесь же с нами рядом занималась балетная группа Обранта, снискавшая широкую известность в те годы. Эти девочки и мальчики были постарше, более уверенные в себе, — артисты! За нашу концертную деятельность я и была удостоена дорогой для всех нас награды — медали «За оборону Ленинграда» (слова замечательного поэта-блокадника Юрия Воронова: «Нам в сорок третьем выдали медали и только в сорок пятом — паспорта» — точно относятся к моему возрасту).

Так и повелось: летом — Дворец пионеров, остальные месяцы — школа, и во Дворце — только занятия два раза в неделю. Блокада продолжалась, было по-прежнему голодно, кругом гибли люди, не было самого необходимого; вспоминаю, как праздник, когда в школе мне выдали ватник, — аккуратный серый ватничек, к которому бабушка пришила меховой воротничок. Мне он казался верхом элегантности, и действительно был очень удобной, теплой и легкой одеждой. Жизнь

шла своим чередом, были в ней свои маленькие радости и огорчения. Как и до войны, хотелось получить отметку получше, были переживания, как пройдет концерт, завязывались новые дружеские отношения, выделялись любимые и нелюбимые учителя. Это уживалось с тем, что урок прерывался глухими ударами бомб — в сорок втором бомбили жестоко, — урок переносился в бомбоубежище. Помню одну бомбежку. Фугаски падали вокруг, казалось, что ничто не могло уцелеть, мы вырывались из убежища и толклись на пороге, за который нас не пускали учителя. У каждого был страх за своих: школа-то цела, а как дом? У меня дома были бабушка и маленькая двоюродная сестренка, они в убежище не ходили и просто стояли в прихожей, там не было окон, считалось безопасней. После особенно близкого разрыва я не выдержала — бросилась бежать к дому: по Социалистической улице, поворот на Загородный — и мой второй дом. Как свистели над головой бомбы! Налет был одним из самых сильных, нацеленным на наш район. Вбегаю в ворота — слава Богу, дом стоит! — но что-то не то. Сообщаю, что в доме ни одного стекла — попадание было рядом, старый дом все-таки устоял, а окна вылетели все. Бегу домой — в темной передней у стены прижались бабушка и внучка... Пронесло!

Из дома в бомбоубежище уже давно не ходили (считалось, что самое страшное — быть засыпанным), но если налет или артобстрел заставал на улице, приходилось прятаться. Сколько их было, этих подвальных помещений, ставших бомбоубежищами! Остро запомнился очень характерный запах, который там царил, запах свежеструганых бревен, сырости, земли. Как-то, пару лет назад, вдруг в каком-то помещении пахло этим духом, и сразу за ним встала война.

Однажды в сорок втором нас школой повезли на несколько дней в колхоз — убирали, кажется, кормовую свеклу. Чтобы я не потеряла карточные талоны на еду (без них никуда нельзя было уехать — по ним кормили), мне несколько талончиков положили в крошечную старинную сумочку, которую я надела на шею, — ведь руки для работы должны были быть свободными. Дни на поле вспоминаются туманно — все затмило одно: цепочка сорвалась, я потеряла кошелечек с карточками. Молчала, покоровившись судьбе, — ведь ни у кого не было лишней порции. Хорошо, что девочки распознали мою беду, рассказали учителям, те сумели меня накормить.

Мы недолго проучились в моей старой школе. Подошла школьная реформа — разделили мальчиков и девочек, наша школа стала мужской, а девочек перевели в 319-ю школу у Пяти Углов — теперь в этом здании другое учреждение. И пришлось привыкать к новому помеще-

нию, новым учителям, новым одноклассникам. Эту школу я и закончила. К сожалению, не получилось у нас дружного коллектива, после выпуска мы ни разу не встречались всем классом. В чем тут дело? Наверное, в разных причинах. И в том, что идея разделения девочек и мальчиков не была верной: девчоночий коллектив — не чета смешанному. И в том, что последние классы пришлось на первые послевоенные годы, когда ребята возвращались из эвакуации, переселялись внутри города, выезжали в область. В результате состав класса был текуч, пришедшие из разных школ девочки так и не слились в одно целое.

Границы жизни постепенно расширялись, этому не могли помешать постоянные налеты и обстрелы. Мама начала работать в блокадном Театре оперы и балета им. С.М. Кирова — оставшиеся в городе артисты образовали свой творческий коллектив, который ставил целые оперные и балетные спектакли. Здесь я слушала «Пиковую даму» и «Евгения Онегина», «Кармен», смотрела «Тщетную предосторожность». — Нет, раньше были походы в оперетту — наш славный блокадный театр. Из-за войны мы стали посещать оперетту значительно раньше, чем это было бы позволено детям в мирное время. Помню один из первых коллективных (со школой) походов — кажется, это был спектакль «Раскинулось море широко». Он шел в Пушкинском театре, там не раздевались. Когда в ложе надышали набившиеся в большом количестве школьники, пальто сложили в аванложах на диванах.

Если уж вспоминать о блокадном театре, то нельзя не назвать Горьковский. Какие чудесные спектакли шли на его сцене, с какими артистами! Помню бесподобную «Дорогу в Нью-Йорк» с Полицеймако и Казико — я несколько раз ходила на нее и никак не могла досмотреть до конца — мешали тревоги. То же было и с популярной кинокартиной «Джордж из Динки джаза», мне удалось его увидеть целиком на третий или четвертый раз. Как помогали жить и радоваться — а без радости жить нельзя — эти незамысловатые, чистые, веселые пьесы и фильмы!

Сейчас, глядя назад, думаешь о том, какой доброй, при всей суровости быта, была атмосфера в городе. Я не помню времени, когда так ощущалось бы единение людей и местных властей, тех работников райисполкомов и райкомов, которые и до, и после войны существовали совсем в стороне от простых смертных. А здесь вспоминается такая картина: самое суровое время (видимо, начало сорок второго). Длинная, безнадежная очередь за хлебом — хлеб не привезли, предстоит продолжить ожидание утром. Молчаливые, измученные женщины и

дети. К булочной у Пяти Углов подъезжает машина, выходит немолодой, несколько опухший человек в белых бурках. Он подходит к очереди и начинает разговаривать с женщинами, объясняя им, что хлеб будет, но придется подождать — доставка задерживается. Его дружеское участие вызывает оживление в очереди, лица светлеют. Как важно доброе слово. Я даже помню фамилию этого человека — Мартынов: кажется, это был председатель Фрунзенского райисполкома.

Я уже говорила о том, как сблизила война соседей. Тогда в своем доме мы все знали друг друга, — конечно, и жильцов осталось немного, но главное было какое-то взаимное участие, вызванное общей бедой. Сейчас меня удивляет и то, как спокойно можно было ходить по улицам. Был комендантский час, хождение прекращалось — не помню точно, в десять или одиннадцать часов. Но ведь осенние и зимние вечера беспросветно темны уже с пяти-шести часов. Вплоть до снятия блокады строго соблюдалось затемнение, так что в городе не было ни одного огня. Только на груди людей зеленовато отсвечивали круглые «светлячки», чтобы в темноте не налететь друг на друга. И вот в этой кромешной тьме, о которой сейчас и взрослому человеку страшно подумать, спокойно ходили тринадцати-четырнадцатилетние девчонки, и это не вызывало беспокойства дома. И дело не только в том, что по сравнению с окружавшими нас опасностями это хождение во тьме казалось не главной; но и город был тогда действительно спокойным, не было разговоров о хулиганстве, разбойничьих нападениях. К тому же всю войну — да и немалое число лет после войны — сохранялся добрый обычай дежурства у ворот, так что вы шли по живой улице, и в случае чего легко было поднять тревогу.

Во время блокады, как всегда в жизни, рядом шли свои радости и беды (только, наверное, последних было намного больше). Каким счастьем было, когда в доме зажглось электричество! Это было на рубеже сорок третьего, сначала существовал лимит на свет. Мы ждали его долго, обещали, что скоро дадут свет, придешь из школы, первый вопрос: «Горит?», — оказывается, еще нет. Наконец загорелись лампы. Это после той кромешной тьмы. Жизнь сразу стала легче. А одновременно — какие страшные обстрелы обрушивались на город — и в сорок втором, и уже после прорыва блокады в сорок третьем! Когда снаряд взрежался в толпу людей на остановке на Невском проспекте, у Садовой, я была во Дворце. Это было совсем рядом, сразу стало известно о трагедии — погибли десятки людей, некоторые ребята бегали смотреть; я не могла. Во время другого жестокого обстрела на улице Ракова, тоже в гуще ожидающих транспорт людей, погибла наша родственница — это был



Софья Александровна Маретина, главный научный сотрудник МАЭ, доктор исторических наук, один из ведущих индологов в нашей стране. Профессор кафедры этнографии Санкт-Петербургского государственного университета.

солнечный день сорок третьего. Муж пытался найти ее останки, это оказалось невозможным — снаряд превратил людей в кашу.

После прорыва блокады с едой стало легче, хотя голодные смерти продолжались. Стали умирать более выносливые, чем мужчины, женщины. Но все-таки стало сытнее. С повышением продуктивных норм появился новый бич — крысы. Наша квартира расположена над магазином, в самые голодные месяцы там было пусто, и вся живность ушла или просто погибла. Но теперь встанешь утром, выйдешь на кухню, а там на столе сидит крыса, которая, несмотря на мой крик, удаляется неспешно, волоча за собой длинный мерзкий хвост. Надо было что-то предпринимать, нужен был кот. Мы так отвыкли за блокаду от всего живого, что кошка казалась каким-то чудом. Поначалу коты были нарасхват. У наших знакомых в нашем доме появились котята, и нам предложили выбрать одного. Я влюбилась в большеголового рыжего котенка, но, когда пришла за ним, — оказалось, мне оставили серого. «Ведь серый красивее!» — сказал удивленный моим огорчением хозяин. Что же — и серый кот был настоящим счастьем.

Известия с фронтов были все более обнадеживающими, жизнь в городе становилась все полнее: и в мою жизнь все больше входили концерты — эти прекрасные сборные эстрадные концерты (всех артистов мы знали наперечет) — и кино. К концу войны мы с мамой несколько раз ездили на острова и там собирали грибы. Сейчас трудно в это поверить, но тогда там было пусто и первозданно и удивительно хорошо.

Великая дата для всех, переживших блокаду, — конец января сорок четвертого. Наверное, нет человека, который бы не помнил этот постоянный, длившийся несколько дней гул — звуковой фон от непрекращающегося грохота орудий. Мы за годы войны привыкли определять — кто стреляет, где стреляет, куда стреляет. Здесь канонада была могучей, но как-то все чутьем воспринимали ее радостно — наши наступают! День за днем продолжался этот дальний рокот, и вот — счастливый день, исторический приказ по городу об освобождении таких до боли знакомых с детства мест — Пушкин, Павловск, Гатчина и многие другие. Блокада снята! Это значило — конец обстрелам, которые калечили город еще в январе; конец затемнениям; конец фашистской угрозы! Наверное, никогда не забудется первый ленинградский салют — казалось, весь город высыпал на улицы и пошел на Неву, на Дворцовую площадь. После этого туда шли постоянно — при всех победных салютах, которые бывали все чаще. Я стояла в тесной толпе, люди кричали, смеялись, плакали. С нами была моя семилетняя сестренка — победные залпы вызывали у нее слезы страха — ведь она знала только выстрелы смерти.

После этого так и повелось — все праздничные салюты встречать на Неве. Мы с подружками обязательно отправлялись туда, радовались фейерверку, веселились в толпе на Дворцовой. А там играли оркестры, показывали кино — на здании Морского архива был натянут огромный экран — и, конечно, танцевали. Тогда танцевали везде — и в кинотеатрах перед началом сеансов, и в фойе театров, и на улицах и площадях по торжественным случаям. С тех пор я не могу в день Победы сидеть дома — он для меня на улице, в праздничной толпе, в звуках марширующего по Невскому оркестра.

После снятия блокады все сразу почувствовали себя свободными. Война уверенно катилась к границам, Ленинград наконец-то оказался в тылу. Теперь нам стали доступными не только город, но и пригороды. И как только фронт отошел, уже летом сорок четвертого, мы с подругой отправились в освобожденный Петергоф. Теперь-то я понимаю, какое это было рискованное легкомыслие: везде вдоль дорожек

шли надписи о минах, — о том, что «мин нет», или о том, что «ходить запрещено». Но какая же там была красота! Замечательный ансамбль сильно пострадал: вместо дворца возвышался полуобгоревший остов, в парке на каждом шагу были развалины, многие деревья были срезаны наполовину снарядами. И тем не менее парк сохранял свое величие, море, настоящее море поблескивало на солнце, и главное — мы были совершенно одни. Быть одним в Петергофе — такое сейчас невозможно себе представить. Тогда все это было наше, только наше, и мы как хозяева углублялись во все новые и новые аллеи, босиком ходили по взморью, а потом отправились пешком в Старый Петергоф. Вот где были сплошные надписи о минах, вот где ряды за рядами тянулся обезглавленный лес. Эта поездка запомнилась на всю жизнь: как во всем тогда, в ней были и грусть по погибшему, и неудержимая радость обретенного, радость возвращения к прекрасному.

Рассказывать о блокаде нельзя, не назвав день Победы, хотя пришел он более чем год спустя после окончания ленинградской эпопеи. Этот день зримо приближался, его ждали, знали, что он вот-вот придет, день объявления мира, — но какой он был счастливый, этот миг, когда все узнали — война кончилась. Хотя и очень грустный, — боль от потерь особенно остро давала себя знать в этой атмосфере счастья.

Я узнала о конце войны во Дворце пионеров, сразу же побежала домой. Мама уже отправилась с другими артистами выступать по случаю праздника — тогда, это, наверное, все ленинградцы помнят, на площадях и набережных Невы шли концерты, везде играла музыка. И мы, конечно, пошли на Дворцовую, на Неву — ведь там мы встречали все победные салюты, сюда же пришли в день главной Победы и любовались великолепным фейерверком.

Но, пожалуй, самое сильное воспоминание — это 8 июля сорок пятого, возвращение гвардейских частей в Ленинград. В этот яркий, солнечный день на улицах города было настоящее праздничное ликование — такое, как обычно показывают в кино и какое нечасто бывает в жизни. Этот день забыть нельзя. Войска шли и по нашей улице — Загородному проспекту, мы ждали их в толпе у Пяти Углов, как и все, с охалками цветов, а потом шли следом, по Невскому и дальше. Об этом дне много написано и рассказано, это надо было видеть и ощутить. Казалось, все муки долгих блокадных лет растворились в этом празднике цветов, объятий, слез и улыбок. А ведь военные раны долго еще будут давать о себе знать...

В.Н. Вологодина

НАРАВНЕ СО ВЗРОСЛЫМИ

Я принадлежу к поколению ленинградцев, о которых наш поэт-блокадник Юрий Воронов писал:

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?..
Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом —
Паспорта.

Весной 1941 года я окончила шестой класс 252-й школы Октябрьского района. Обычно моя семья каждый год с начала лета выезжала на дачу под Петергоф. Однако в тот памятный июнь выезд на дачу все откладывался. Я уже не помню всех причин — возможно, это и болезнь отца, но, скорее всего, влияла общая напряженная обстановка, вызванная обострившимся международным положением: ощущение тревоги, предчувствие надвигающейся беды.

И вот беда пришла. Надо сказать, что очень многие ленинградцы, в том числе и мы, не сразу осознали масштаба случившегося. Думали, война кончится так же быстро, как и война с белофиннами. В нашей победе, конечно, никто не сомневался, и об эвакуации из Ленинграда мои родственники — коренные ленинградцы — не хотели даже думать.

Но эвакуироваться все же пришлось моему отцу. (Только через несколько лет после смерти папы я узнала, что он работал в области вооружения боевых кораблей.) По распоряжению правительства, КБ, где папа работал, эвакуировали в Казань. Все специалисты получили бронь, освобождавшую их от призыва в армию. КБ эвакуировалось в



Вера Николаевна Вологодина,
научный сотрудник Отдела
Африки, кандидат исторических
наук. Специалист по культуре
народов Ганы и Того. Многие
годы являлась ученым секретарем
по международным связям,
член Международной Ассоциации
историков войны и блокады.
Награждена медалью
«За оборону Ленинграда».

три очереди. Последняя была в конце того же июня. За папой в больницу, где он лежал с приступом стенокардии, пришла машина, он захел на пятнадцать минут домой (дома никого не застал, взял две смены белья, пальто, оставил нам записку) и на той же машине был доставлен на вокзал к своему эшелону. Мама нашла его там, а я, занятая своими школьными делами, так и не успела с папой попрощаться. Все мы думали, что он уехал ненадолго, но свидеться нам пришлось только летом 1944 года, когда он вернулся из Казани. Зимой 1942 года папа прислал нам вызов, но мама как медработник не могла покинуть больницу: она находилась на казарменном положении, да и из Ленинграда мы не собирались уезжать, хотя очень скучали и беспокоились за папу.

Учебный 1941-й год начался после того, как 8 сентября сомкнулось кольцо блокады Ленинграда. До этого в нашей школе (Крюков канал, 15) располагался эвакуационный пункт для детей Октябрьского района. Мы часто забегали в школу справиться о начале занятий и помогали учителям, работавшим в эвакуационном пункте, чем могли.

Начало учебного года совпало с постоянными бомбежками и обстрелами города. По данным Ассоциации историков, «только в сентябре по городу было выпущено 5264 крупнокалиберных снаряда. Так, 15 сентября жилые кварталы находились под огнем 18 часов 32 минуты. Артиллерийским обстрелам город подвергался в дневное время, а каждую ночь по девяти и более часов город бомбили самолеты» [Ленинград в борьбе месяц за месяцем. 1941—1944. СПб., 1994].

Одна из первых бомб, упавших на город, взорвалась всего в одном квартале от школы. Попала она в любимый всеми ленинградцами Кировский (Мариинский) театр. Конечно, мы бегали смотреть, сокрушались. Правое крыло театра превратилось в развалины. Здание театра было ограждено. Развороченные, свисавшие ярусы напоминали припущенные траурные флаги. А ведь всего несколько недель назад, в июле, мне посчастливилось присутствовать на прощальном спектакле «Лебединое озеро» — театр готовился к эвакуации. Помню, как после окончания спектакля зрители долго не отпускали своих любимых артистов, аплодисментами заставляя их выходить на сцену снова и снова. Призывы администрации покинуть театр, не действовали на публику. Наконец из зрительного зала все переместились на площадь. По законам военного времени такое скопление народа не разрешалось, пришлось администрации театра вызывать пожарные машины. Только когда пожарники (не знаю, всерьез или нет) стали разворачивать свои шланги, народ стал расходиться. Но, может быть, и потому, что, как выяснилось, артистам было велено покинуть театр через другой выход.

Бомбежкам осенью 1941 года микрорайон нашей школы подвергался интенсивно: недалеко находились известные всей стране судостроительные НИИ и КБ, квартировались военные и морские части. В одну из таких яростных ночных бомбежек трагически погибла наша старенькая учительница русского языка и литературы, Ольга Константиновна Бондарева. Свой педагогический путь Ольга Константиновна начала еще до революции, в гимназии Императорского Человеколюбивого общества, которая располагалась в здании нашей школы. После революции Ольга Константиновна осталась работать в своей гимназии, преобразованной в школу. Жила она во дворе во флигеле, отведенном школьному персоналу под жилье. Семьи у нее не было. Рассказывали, что в одну из ночей, когда вокруг все сотрясало и пылало, Ольга Константиновна, видимо желая куда-нибудь укрыться, выбежала на лестницу и... шагнула в разбитое, распахнутое настежь окно третьего этажа, приняв его за дверь.

Занятия у нас чаще проходили в подвале, превращенном в бомбоубежище. Сидели мы в верхней одежде, с противогазами через плечо. Противогаз полагалось носить каждому.

Сколько было учеников в нашем седьмом классе — не помню. Да и вряд ли их считали. Многие школы нашего района по разным причинам переставали функционировать, а их учеников перевели в нашу. А из моего прежнего, шестого класса остались только моя подружка и я.

Занятия в школе чередовались с дежурствами на крыше, в подъезде, на территории школы. Дежурили мы и в своих домохозяйствах. С особым рвением мальчишки тушили зажигательные бомбы. Досталось лиха и мне. Во время дежурства на крыше взрывной волной меня отбросило далеко от поста, где я находилась, оглушило и контузило. Когда я пришла в себя, никого кругом не оказалось. Попробовала встать — ноги отказали, кричала, плакала — никто не слышал. Оказалось, меня считали погибшей, не обнаружив на посту. А я лежала на крыше соседнего здания, примыкающего к школе. К счастью, труба помешала мне свалиться вниз. Нашла меня мама, которая забежала из больницы домой. Снимали меня с крыши пожарные. Несколько дней отлеживалась дома, потом — опять в школу. С тех пор у меня появились седые волосы.

При школе действовала столовая. В городе уже с сентября месяца была введена карточная система, продовольствия не хватало, но по распоряжению Ленгоссовета школьников кормили дополнительно. Полноценными эти обеды назвать было нельзя, но они являлись подспорьем как для учеников, так и для учителей. Столовая располагалась так-

же в подвале — старинное здание школы имело большие сводчатые подвальные помещения.

С приближением зимы 1941/42 года все меньше и меньше учителей и учеников стали приходить в школу. Но жизнь в ней теплилась, даже когда голод начал косить людей. В столовой давали, правда, одну похлебку, неизвестно из чего сваренную. Запечатлелась в памяти такая картина: наш завуч Давид Давидович Шухардт, в довоенную пору грузный человек, ходит между столиками и облизывает после учеников в основном уже пустые тарелки. Он, как и большинство мужчин, тяжело переносил голод. Рассказывали, что в его семье сварили почти все кожаные ремни. Однажды, в конце января 1942 года, Давид Давидович вышел из дома и пешком отправился в школу. Путь был неблизкий, и он оказался для него последним: до школы он не дошел. Его жена Елизавета Ивановна — она преподавала у нас в младших классах русский язык — и средний сын Гельмут — тоже ученик нашей школы — найти его нигде не могли. Вскоре умер их старший сын Эдвин — десятиклассник.

Тут необходимо пояснить, что в 1931—1937 годах школа (тогда № 33) имела два отделения — немецкое и русское. Немецкое отделение, его чаще называли «немецкой школой», являлось как бы приемником действовавших до революции в нашем городе и закрытых вскоре после нее восьми немецких школ. Наша школа предназначалась для детей немецких и австрийских антифашистов — «шуббундовцев», детей российских немцев и немецких специалистов, работавших у нас в городе. Естественно, в ней учились и русские ребята, и их было большинство. Я прочилась в немецкой школе два года. Учителя в основном были немцы, многие из Республики Немцев Поволжья. В начальных классах все предметы преподавались на немецком языке, в том числе и русский язык. В 1937 году немецкую школу закрыли, навесив на нее ярлык «рассадник фашизма», школа стала целиком русская и получила номер 252. Те из учителей, которые не были репрессированы, остались в ней работать. Нам довелось учиться у них. С благодарностью вспоминаю Г.П. Вормсбехер, Л.Е. Клайн, К.К. Мертенса, В.Г. Вагнера, чету Шухардтов и других. Многие учителя-немцы вместе с ленинградцами разделили все тяготы военного лихолетья. Пережив блокаду, они пережили еще и годы репрессий.

Зимой 1941/42 года занятия в школе фактически прекратились, хотя наиболее упорные ученики продолжали еще приходить. Школа стояла холодная и темная — электричества не было, окна выбиты и заколочены. Однажды собралось нас несколько учеников и учителей, и

мы не знали, что делать. А дежурить все равно надо — обходить все помещения и следить, чтобы не возникло пожара. Пожары в ту пору были частыми. Они могли возникнуть не только от зажигательных бомб, но и по другим причинам, главным образом из-за неисправности наших самодельных печек-«буржук», которыми мы обогревались и на которых готовили себе еду. Страшнее были злоумышленные поджоги. Здания горели, как свечки, — долго, тушить было нечем, водопровод не работал, да и некому. Помню, как рядом с домом, где жили мои родственники (угол ул. Декабристов и пр. Маклина), горел дом, известный в городе как «Дом-сказка». Он был построен в начале века архитектором А. Бернардацци. Его украшали многочисленные скульптурные изображения, в том числе и высеченная из камня огромная птица Феникс скульптора Рауша фон Траубенберга, яркие мозаичные панно. Говорили, что их изготовили по эскизам М. Врубеля. Праздничным, затейливым видом дом вполне оправдывал свое название. Знаменит он был еще и тем, что в разное время здесь жили известные люди — балерина А. Павлова, композитор С. Майкопар, скульптор М. Манизер, академик И. Крачковский, многие артисты Мариинского театра. Здесь же помещалась известная балетная школа А.Ф. Кларка, просуществовавшая до пожара 1941 года. Акомпаниатором в школе много лет работал Е. Мравинский. В школе занимались Н. Черкасов, Е. Карякина, другие известные артисты. Какое-то время школу посещала и моя тетушка, жившая по соседству. Балетные постановки школы, шедшие на разных сценических площадках, пользовались неизменным успехом. Сам А.Ф. Кларк и вся его семья погибли от голода.

Дом горел больше недели. От здания остались лишь одни стены. Энтузиасты, рискуя жизнью, спасли отдельные художественные детали, в том числе и мозаику. Но восстановить после войны дом в прежнем виде не представилось возможным. Стены взорвали, а потом на этом месте построили новое здание. Куда девался весь богатый декор, некогда украшавший его, я не знаю. Теперь мало кто и помнит о существовании прекрасного «дома-сказки». Кстати, после войны здесь жили наши сотрудники: Э.В. Зиберт, С.В. Иванов, С.Б. Фараджев.

Дежурили мы в школе по двое — на большее не хватало людей. Ночные дежурства старались брать на себя учителя или более старшие ученики. Но случалось и так — дежурный не приходил. Тогда переделывали весь график в расчете на оставшихся в живых. Был у нас и один бессменный дежурный — наш сторож, живший при школе и любивший ее, преданный своему делу. Звали ее Настенька. Я не помню ее фамилии и отчества. Наверное, мало кто и знал их. Добрей-

шее, самоотверженное существо, она не гнушалась никакой работы, не считаясь ни со временем, ни с силами, если надо было что-то сделать или кому-то помочь. Думаю, эти качества и помогли ей выжить в ту тяжелую зиму.

И еще была у дежурных одна тяжелая обязанность — убирать трупы с пришкольной территории. Сколько их тогда лежало на улицах в одежде или зашитых в простыни и одеяла! Мы уже знали: если тело застыло в сидячем или лежачем положении, значит человек умер в пути. «Зашитые» умирали дома, просто у родственников или соседей не было сил отвезти их на кладбище или в морг. С улицы покойников подбирали специальные бригады. Чаще всего их свозили в районные или городские морги, а затем хоронили или сжигали. Наш районный морг находился в Канонерском переулке. Это было сравнительно недалеко от школы, но мы были слабые, поэтому приходилось трудно. Способ транспортировки простой — накидывали веревочную петлю на ноги и по двое, по трое волоком тащили до морга. Дорога в морг была накатанной. Сейчас трудно все это осмыслить. Нас спрашивают, какие чувства испытывали мы, почти дети, выполняя эту работу, — страх, жалость, отвращение, недовольство? Да никаких. Чувства притуплялись от всех страданий. Надо — значит надо. И делали. Хорошо еще, что мне довелось тащить только «зашитых» покойников.

За нашу работу при школе нас оставили на довольствии — стали привозить суп, если так можно назвать воду, где плавали единичные лапшинки или крупинки, а то и вовсе ничего не плавало, как в дрожжевом супе. Давали по две тарелки. Естественно, мы переливали суп в свою посуду и уносили домой. Для большинства из нас это было большим, а иногда и единственным подспорьем в скудном рационе. Мама получала «служашую» карточку, а я — «иждивенческую» («изможденческую», как мрачно иронизировали ленинградцы). Дети после двенадцати лет считались иждивенцами. Не буду перечислять, чего мы только не ели в ту пору, сколько проявляли изобретательности, чтобы несъедобное (жмыхи, дуранду, столярный клей и т.п.) превратить в съедобное. А если удавалось раздобыть картофельные очистки или кофейную гущу, — какие восхитительные лепешки получались из них! Я давала себе слово: как только кончится война, наестся вволю этими лакомствами. Жарили на чем придется, в ход шли даже касторовое масло, вазелин, олифа. Ну и, конечно, меняли вещи. На «черном рынке» буханка хлеба стоила от тысячи и выше (в те времена огромные деньги). Правда, я не видела такой продажной буханки, да и рынок находился в глухом подполье — за мародерство по законам военного

времени полагался расстрел. На этот рынок выходили «многоступенчато». Помню, за золотое кольцо нам дали стакан прогорклого пшена. На другом рынке за папино отличное охотничье ружье и высокие сапоги — дюжину старых засохших просвирок.

Мама большую часть времени проводила в больнице, которая находилась напротив Кузнечного рынка. До войны здесь был родильный дом, где и работала мама врачом-акушером. С сентября 1941 года роддом преобразовали в центр оказания первой помощи пострадавшим от бомбежек и обстрелов. Каких только историй я не наслушалась и чего не нагладелась, навещая маму! Никогда не забуду молодую красивую женщину, в глазах которой глубоко засели осколки стекла. Она стояла у окна, когда поблизости от ее дома разорвался снаряд и взрывной волной выбило стекла. Она осталась слепой. Весной 1942 года больница была преобразована в стационар для детей-дистрофиков. Стационар этот действовал около полугода, а затем больнице был возвращен ее прежний профиль — роддом.

В январе 1942 года нас постигло большое горе: от голода погибли мой дядя и его жена. Я до сих пор не могу себе простить, что упрекнула дядю, когда он, незадолго до смерти, пришел к нам и, увидев на столе сахарницу, схватил ее и судорожно запищал ее содержимое в рот. Это был наш последний сахар из запасов мирного времени, предназначенных для заготовки варенья. А дядя очень любил меня. Помню, чтобы подкормить меня, он ловил голубей у Никольского собора.

После этого случая с сахаром дядя больше не приходил. Обеспокоенная его отсутствием мама, вырвавшись из больницы, пошла навещать его. Подойдя к дому, она увидела крытый грузовик, куда бойцы МПВО укладывали трупы умерших, подобранные на улице или вынесенные из квартир. Грузовик уже отъезжал, когда ветром откинуло рогожу, прикрывавшую покойников, и мама с трудом опознала дядю. Ей удалось узнать: хоронить везут в братские могилы на Серафимовское кладбище.

Это была не единственная потеря родных за период блокады. Как мы потом узнали, от голода погибли жена моего другого дяди и мой двоюродный брат. Мы считали их эвакуированными: они заходили к нам прощаться. Очевидно, по каким-то причинам эвакуация не состоялась, или они погибли в пути. Спросить было не у кого. Дядя же умер еще до войны.

Мама была очень добрым и отзывчивым человеком. Как только ей удавалось прийти из больницы домой, мы обязательно шли навещать кого-либо из родных или друзей, как бы далеко они ни жили. Ходить

повсюду приходилось пешком, транспорт не работал. Мама всегда брала с собой термос с кипятком и какие-либо лекарства — вдруг пригодятся. Часто наш визит был уже запоздалым. Но на меня удручающее впечатление производили не умершие, а, как я их называла, «живые покойники». Это были люди, похожие на скелеты, обтянутые кожей, которые ни встать, ни говорить уже не могли. И вот, к своему большому удивлению, уже после войны я от одной своей родственницы услышала: «А помнишь, вы навещали меня той ужасной зимой. Вы ничего мне не говорили, но по вашим глазам я поняла, что уже обречена». Кстати, на ноги ее поставили в диспансере при Кировском заводе, где она стала работать бухгалтером незадолго до того, как слегла. Такие диспансеры, спасшие жизнь многим сотням, если не тысячам ленинградцев, создавались для своих кадров при крупных заводах, фабриках и других учреждениях. В них оказывали медицинскую помощь дистрофикам — но главное, конечно, было питание, как оно называлось, «усиленное». Открылись такие диспансеры после того, как по ладожской Дороге жизни пошло продовольствие в осажденный город.

Родственница, о которой я говорила, жила в то время одна в двухкомнатной квартире. В одну из комнат ей вселили беженцев из Ленинградской области — несколько семей с детьми. Они очень голодали, так как менять на продукты им было нечего. Вначале родственница делилась с ними, особенно с детьми, чем могла, но... Вскоре все умерли и ей пришлось длительное время находиться вместе с умершими в одной квартире.

Тогда же зимой слегла мама — не выдержало сердце. Помню, побежала я в районную поликлинику вызвать врача. Квартирная помощь находилась в подвале. Освещала подвал одна «коптилка» (так называли чернильницу-«невыливайку», куда наливался керосин и вставлялся фитиль). Народу было много. Когда подошла моя очередь, я, видимо, от волнения сильно вздохнула, и коптилка погасла. Начались длительные поиски спичек — их тоже выдавали по карточкам. С большим трудом спички отыскались.

С болезнью мамы все заботы о добывании еды легли на меня. Правда, и до этого отоваривание карточек было моей обязанностью. Очереди за хлебом! Сколько часов приходилось стоять на лютom морозе! Обычно очередь занимали с вечера, стояли всю ночь, поверх пальто закутавшись в одеяла (не люди, а кули какие-то). Утром ждали, привезут в эту булочную хлеб или нет, а если привезут, то хватит ли? Мне везло: если хлеб привозили, мне хватало. И ночью меня отпускали погреться — жалели по малолетству. Но случалось и такое: простояв

всю ночь, приходилось уходить ни с чем. В городе хлеба не хватало. В конце января были дни, когда хлеб в булочные не поступал совсем. На эти дни пришелся пик смертности от голода.

Я брала хлеб и другие продукты для всех родственников, живших с нами в одной квартире. Все они работали, а вечерами в магазинах хоть шаром покати. Нашу с мамой порцию хлеба — 250 грамм — я просила взвешивать отдельно, но положить себе в рот хоть маленький довесочек не разрешала, хотя искушение было велико. Все полученное пряталось за пазуху — у зазевавшихся покупателей хлеб могли вырвать из рук, тут же съесть или убежать с ним. Правда, иногда я отдавала довесочек стоящим в безмолвии вдоль стены булочной. По глазам этих людей, полных безысходного отчаяния, мольбы и в то же время покорных всему, и в том числе надвигающемуся, неотвратимому, понимала: здесь горе, связанное с невозможностью купить даже эту крохотную порцию хлеба.

Я говорила, что мне «везло» в очередях. Вспоминается и такой случай. Стояла я в очереди в булочной (угол Садовой и Большой Подъяческой) одной из первых, около самых дверей. Хлеб все не привозили, наконец слышу: «Везут!». Все пришли в движение, задние стали напирать на передних, а двери все не открывали. Ручка двери с силой вдавилась мне в живот, я закричала от боли и не знаю, чем бы это кончилось, если бы вдруг не обрушилась часть стены дома, ранее подвергнувшегося обстрелу. К счастью, никто не пострадал, а небольшая паника, вызванная этим происшествием, спасла мне жизнь.

Случались в очереди и курьезы. Как-то ко мне обратились с чем-то, назвав «девочкой». Это вызвало удивление, даже обиду у одной женщины. «Что вы, не видите, какая она девочка, у нее, поди, и дети уже взрослые!». А было мне тогда 14 лет. Правда, мой юный возраст один раз чуть не стоил мне жизни — я едва не стала жертвой охотника за людьми, который прятался в подворотне, выжидая подходящий случай. Еле от него убежала и со страхом вошла в свой подъезд. Мне казалось, что он притаился в темноте и может меня схватить. Образ этого людоеда долго мерещился мне в темноте подъезда.

О канибализме во время блокады говорить, а тем более писать не разрешалось. Только сравнительно недавно стало возможным предать этот факт гласности. Да, как это ни прискорбно, но людоедство у нас было. Я не могу сказать о его масштабах. Это не было характерным явлением в осажденном Ленинграде. Как всегда, слухи превышали действительность. Я могу только сослаться на случаи, свидетелем которых была сама. Помню труп женщины, лежащей на трамвайных рельсах

на площади у Никольского собора. Мой путь в школу и обратно каждый день пролегал здесь. И я была свидетелем того, в какой последовательности и за сколько дней был расчленен весь труп. Помню две отрезанные ноги в валенках, вдруг оказавшиеся воткнутыми в сугроб снега у нашего подъезда. Еще помню людей, стоявших часами во дворе больницы на Кузнечном, где работала мама, ждавших, когда на помойку (куда же было девать?) вынесут ампутированные конечности и последы от рожениц (потом это было запрещено).

После открытия Дороги жизни в магазинах стали появляться кое-какие продукты. Во избежание инцидентов продуктовые карточки надо было прикреплять к какому-либо определенному магазину и отовариваться только в нем. Неприкрепленные карточки не отоваривались. Обычно по радио объявляли, какие продукты и в каком количестве будут выдавать на декаду. В магазине при покупке вырезались талоны соответственно объявленным нормам. Но бывали случаи, когда объявленный продукт в твоём магазине отсутствовал, а в другом был. Искушение заставляло людей идти на риск. Они пытались отовариваться в «чужом» магазине. Иногда это удавалось. Если нет, могли быть и неприятности: продавец отрежет талоны, а потом разглядит, что штамп на карточке другого магазина и возвращает карточку с отрезанными талонами, а отрезанные талоны считались недействительными, с ними потом было очень много мороки, особенно если один продукт заменялся другим, ну, например, мясо — на яичный порошок, и т.д.

Так вот. Прохожу я как-то по Почтамтской улице мимо большого гастронома. Зашла ради любопытства внутрь. Гляжу, на прилавке колбаса «собачья радость» (так у нас в шутку еще до войны назывался сорт колбасы, очень вкусный, между прочим). А у нас-то в магазине на мясные талоны который день ничего нет. Эх, думаю я, была не была, вдруг проскочит. Подошла моя очередь, продавщица берет карточки, отрезает талоны и... — «Девочка, как не стыдно заниматься обманом». Но карточки не отдает обратно, внимательно их разглядывая. Я — в слезы; мысли в голове нехорошие — пропали мои карточки. А продавщица идет в администраторскую. Через какое-то время оттуда выходит молодая женщина и, как мне кажется, строго просит назвать фамилию. Я лепечу сквозь слезы. Тогда она спрашивает, знаю ли я Митю Володина. Я киваю головой. Так звали моего двоюродного брата. Он был, согласно наследственным морским традициям нашей семьи, штурманом дальнего плавания, перед самой войной ушел в плавание, и мы ничего о нем не знали. Женщина оказалась женой брата и сообщила печальную весть: Митя погиб в самом начале войны. Его

корабль, возвращаясь из Таллинна, подорвался на mine. Я пришла домой с колбасой, которая уже не доставляла радости, — было очень жаль брата. Подавленная печальным известием, я даже не спросила ни имени этой женщины, ни ее адреса. Потом попытки навести справки ни к чему не привели. Директор магазина, у которой сидела та женщина, погибла во время обстрела.

Дома, кроме нас с мамой, существовали еще два едока: два наших меньших члена семьи — попугай и кот. Говорящий попугай Жаконя появился в нашей семье задолго до моего рождения. Папа купил его у матроса в порту. Два года попугаю пришлось прожить в строгой изоляции, чтобы отучиться от своеобразной морской лексики. И он отучился. Как я только помню, это была благовоспитанная птица, принимавшая участие в моем воспитании и воспитании кота Максима, который появился у нас за несколько лет до войны. До этого у нас был другой кот — Бимба. Но тот дружбу ни с кем не водил, даже своих хозяев терпел по необходимости.

Трогательная дружба связывала этих двух, как будто несовместимых, существ — Жаконю и Максима. Когда в доме появился очень шустрый и хулиганистый котенок, попугай на правах старшего принялся воспитывать несмышленишку и весьма преуспевал в этом деле. Стоило, например, Жаконе сказать Макс: «Не смей!» — как не в меру распалившийся котенок замирал, а затем послушно шел на свое место, ничуть не обижаясь. Зато летом на даче старшим чувствовал себя кот. Он буквально нес вахту около клетки, когда ее выносили в сад, а попугай вылезал на крышу клетки (летать, по старости, он уже не мог). Если случалось забежать в сад чужому коту или собаке, им тут же задавалась такая трепка, что пришельцы едва уносили ноги. Однажды Макс отлупил большую овчарку. Он обрушился на нее откуда-то сверху, и от неожиданности бедный пес пустился наутек, даже не сумев постоять за себя. Эти два существа стойко переносили с нами все тяготы той суровой зимы — боялись, как и мы, бомбежек, страдали от голода и холода. Первое время мы, как и все ленинградцы, во время бомбежек прятались в бомбоубежище, затем под лестницей, потом в коридоре квартиры, в дверных нишах (считалось почему-то, что дверные перекрытия надежнее всего защищают в случае обвала). А после, когда привыкли, уже никуда не прятались, полагаясь на волю Бога.

Наши младшие члены семьи вели себя очень беспокойно, если мы во время бомбежек уходили из комнаты, кот прятался под кровать, а попугай принимался кричать и звать нас. Мы придумали закрывать его клетку накидкой (так делали всегда перед сном), но Жаконе это

не нравилось, и он старался через прутья клетки прогрызть накидку. А когда мы прятались в коридоре, приходилось брать с собой и клетку с попугаем, и кота. Кот забивался под стулья, а затем прыгал к кому-нибудь на колени. Он все время очень мерз. Спал он, естественно, с нами. Помню, в те лютые морозы зимы 1941/42 года, когда меня отпускали из очереди за хлебом домой погреться, я залезла в постель и тут же появлялся Макс. Мы лежим, оба трясемся от холода. Кот смотрит на меня сконфуженно (если он конфузился, то шурил глаза и топорщил усы), как бы спрашивая: «Ну, в чем же дело? Почему мы не можем никак согреться?». А однажды я застала такую картину: лежат в клетке рядышком Максим и Жаконя. Очевидно, каким-то образом дверь клетки оказалась открытой, и кот воспользовался этим.

Попугай не выдержал всех бедствий, но, скорее всего, он погиб от голода. Я считала попугая птицей всеядной — в мирное время они с котом всегда требовали, чтобы их угощали тем, что мы ели сами на завтрак или в обед. Кот «отведывал» первое и второе, попугай суп не ел, но с удовольствием уплетал мясное, особенно он любил куриные косточки. Было удорительно смотреть, как, обглодав мясо, Жаконя удобно ухватывал кость своей длиннопалой лапой и, приговаривая: «Дай головку почешу!», начинал почесываться. Любил попугай фрукты, овощи, но основной его пищей были семечки подсолнуха. Всего этого мы ему, естественно, дать не могли. Правда, летом маме удалось выменять мешочек семечек, но надолго их хватить не могло. Умирал попугай тяжело. Мама взяла его на руки. Изредка он окликал нас всех по имени: маму почему-то звал Олей, меня — Кукушечкой, кота — Попкой. Последним он назвал себя — Жаконя. Из его глаза, как мне показалось, выкатилась слеза...

Мы очень переживали гибель Жакони. Мама, у которой он прожил 30 лет, не могла выбросить его на помойку. Ей пришла в голову мысль кремировать попугая в камине. Дров не было, но в ход пошел шкаф. У меня не хватило духу смотреть на эту церемонию — я убежала. Кот разделял наши переживания. Два дня он сидел, уткнувшись носом в камин, отказываясь даже от пищи. Вид у кота был ужасный. От худобы шерсть висела клочьями и выпадала, когти не убирались, его мучила «куриная слепота» — временами он терял зрение. Но и в таком виде он вызывал гастрономический интерес у родственников и знакомых, его приходилось тщательно оберегать. Помню, как муж моей тети, стуча кулаками по столу, требовал отдать ему Макса на съедение. А летом 1941 года он так же темпераментно осуждал нас за то, что мы «подалились панике» и насушили две наволочки сухарей (почему-то все

ленинградцы складывали сушеные сухари именно в наволочки). Чтобы как-то отвлечь внимание дяди от кота, тетя выменяла на какие-то вещи заспиртованного поросенка. Очевидно, когда-то он был музейным экспонатом. Попробовать поросенка, кроме дяди, никто не смог. При варке он источал такой запах, что невозможно было оставаться в квартире. Но дядя съел поросенка. Правда, на мои каверзные вопросы о вкусовых качествах этого поросенка дядя предпочитал не отвечать.

Однажды, придя домой, я увидела такую картину: жутко завывая, кот пополз под кровать. «Умирать!» — ужаснулась я. Вытащила кота за хвост и... скормила ему всю декадную норму на двоих сливочного масла (60 грамм), полученную только что по карточкам. Масло помогло. Кот прожил у нас после войны еще 15 лет, являя собой образец кошачьего долголетия. После войны на него приходили смотреть как на редкость, особенно маленькие дети, знавшие о существовании кошек только понаслышке. Как-то к нам, как на экскурсию, пришел целый класс. Макс преисполнился значимостью своей персоны, стал чванлив, разборчив в еде, приобрел другие нехорошие привычки.

Какие еще воспоминания остались от той суровой зимы... Обычно вспоминают новогодние праздники, елки, организованные для детворы по распоряжению ленинградских властей. Проходили они в помещении Малого оперного театра. В программу праздника входили хоровод у елки, спектакль и праздничный обед. Были даже выпущены пригласительные билеты. Об этих праздниках новогодней елки в осажденном Ленинграде много писалось и пишется. Преобладают восторженные отзывы, в них говорится о том, как веселилась детвора вокруг елки. Я была на таком празднике и до сих пор его очень хорошо помню. Веселья, на мой взгляд, не получилось. Надо было видеть глаза детей, устремленные на елку! В них были и боль, и недоумение, и испуг, и еще что-то неподдающееся описанию. Не было только веселья. Как только ни пытались расшевелить детей затейники, в ответ было молчание. А некоторые откровенно нервничали, боясь, что обещанный обед не состоится.

На меня лично большое впечатление произвел спектакль «Ленинградского блокадного театра». Давали «Овода». Я уже не помню имен артистов, участников спектакля. Актерский состав был, вероятно, сборный. Играли все очень хорошо, несмотря на то, что в помещении театра стоял лютый холод и у актеров изо рта шел пар. Играть им приходилось, надев ватники под театральные костюмы. Для нас, подростков, этот патриотический, романтический (так не похожий на современный, балаганный) «Овод» был откровением. Мы глядели на сцену буквально открыв рот, забыв и о холоде, и об ожидавшем нас обеде.

Обеденные столы были накрыты в фойе и в подвальных помещениях. Обед состоял из двух блюд, на сладкое дали конфетки из дуранды. Но очень многие дети есть не стали, а деловито переложили обед в свои баночки и унесли домой — делиться с близкими. Отмечу, что баночки еще очень долго лежали в наших сумках и портфелях «на всякий случай», если вдруг «возникнет» какая-нибудь еда.

Вспоминая то далекое прошлое, хочется еще сказать несколько добрых слов о радио и книгах, имевших для нас тогда особое значение. Радио являлось не только оповестителем воздушных тревог и артобстрелов. Оно доносило до нас сводки Информбюро с фронтов, которые мы с нетерпением ждали, радуясь, если они приносили хорошие известия. Радио было той, пусть тоненькой, ниточкой, связывавшей нас со всей страной и внешним миром, которые восхищались мужеством и стойкостью ленинградцев. Мы слушали наших поэтов: музу блокадного города Ольгу Берггольц, Веру Инбер, Николая Тихонова, Всеволода Рождественского, Михаила Дудина, казахского акына Джамбула Джабаева и других, и их вдохновенные слова вселяли в нас Веру и Надежду. А когда возобновились музыкальные передачи, — жизнь показалась нам легче.

То же можно сказать и о книгах. Книга помогала выжить многим ленинградцам. Она отвлекала от постоянных мыслей о еде, заставляла стряхнуть оцепенение, думать, действовать. Недаром многие библиотеки не переставали работать даже в самые тяжелые дни. Сколько книг было прочитано в ту пору! У нас, школьников, особой популярностью пользовались романы А. Дюма.

Как ни долго тянулась суровая зима, но и ей пришел конец. Весна 1942 года принесла существенные изменения. Была увеличена норма выдачи продуктов. Большое подспорье в рацион внесли разные съедобные растения — щавель, крапива, лебеда. Появилась возможность иметь личные огородики, в том числе и в черте города: в садах, парках, скверах. Там сажали кое-какие овощи и главным образом лук, который так нужен был ленинградцам не только как продукт питания, но и как лекарство от цинги, которая после голода крепко вцепилась в многострадальных ленинградцев. Пухли, синели и отказывались повиноваться ноги, вылезали волосы, расшатывались и выпадали зубы. Вся медицина была мобилизована на борьбу с цингой. Панацеей считалась хвоя. Ее обдавали кипятком, настаивали и пили. Не могу сказать, чтобы это было вкусно и приятно, но известную пользу она оказывала.

Весной 1942 года все трудоспособное население Ленинграда, во избежание эпидемий, было мобилизовано на уборку города. После зимы

на улицах остались груды снега и льда, заваленные нечистотами (канализация не работала, все выбрасывалось прямо на улицу). Часто в грудах снега и льда находили вмерзшие трупы. Картина удручающая — представьте себе едва державшихся на ногах ленинградцев, в основном женщин и детей, по двое, по трое державшихся за лом и пытающихся отколоть накрепко вмерзший лед от тротуара. Мне пришлось работать по расчистке территории и школы, и дома. Но выдюжили и это. Город был очищен. Эпидемий не возникло.

Нам не представилось возможности занять свой огородик — мама болела, а я была занята в школе. Весной возобновились школьные занятия. Неожиданно она оказалась переполненной, пришли ученики из других школ, а также те, кого родители не отпускали из дома зимой. Открылись даже младшие классы, пришли новые учителя. Наш седьмой класс, как, впрочем, и другие, оказался очень сложным по составу. В основном собрались ученики, окончившие семь классов еще до войны, пришли, так сказать, обновить знания. У нас были даже введены выпускные экзамены за семилетку. Мы, «коренные», старались изо всех сил, хотя о многих предметах знали только понаслышке, ведь настоящих занятий у нас не было. И нас пожалели. Учителя «закрыли глаза» на прорехи в наших знаниях и всех перевели в восьмой класс.

Весной ленинградцы получили еще один подарок — баню. В нашем микрорайоне баня открылась на Усачевом переулке. Первоначально был составлен график посещения, преимущество получили дети. В школе нам торжественно объявили, что можем взять с собой «одного родителя».

Первоначально график посещения бани как-то соблюдался, но вскоре все спуталось. Лишенные возможности помыться в течение столь длительного времени люди устремились в баню, плохо соблюдая очередность. Женщины запросто могли обнаружить по соседству с собой мужчину. На пол обращали мало внимания, терли друг другу спины, носили вместе тазы, наслаждаясь теплом и обилием воды. По правде говоря, и пол бывало трудно распознать у сидящего или стоящего рядом сильно исхудавшего человека. Случалось и такое: обращал на себя внимание сосед, долгое время сидевший в неподвижности. Оказывалось — он уже покойник. «Ну что же, — как говорили тогда, — дело житейское» — и продолжали мыться. Но главное, — в помощи друг другу не отказывали.

Летом 1942 года по распоряжению ленинградских властей школьников стали отправлять на огородные работы. Каждое крупное предприятие имело подсобное хозяйство за пределами города, где выращи-

вали овощи. Основные работы производились взрослыми, школьники отправлялись к ним на помощь: на прополку, окучивание, сбор урожая и т.д. Школьников начальных классов на огорода не посылали.

Часть классов нашей школы, куда попала и я, направили в подсобное хозяйство на ст. Пери. Это была последняя предфронтовая станция. Пропуск на проезд оформлялся через Главное управление милиции. Поселили нас в отдалении от поселка, в ольховых зарослях, росших на болотистой почве. Здесь стояло несколько длинных палаток, раньше в них жили солдаты. В палатках двери отсутствовали, на крышах зияли дыры, пола, естественно, не было: под ногами хлюпала вода. Мы нарвали ольховых веток и устроили себе постели. Хорошо еще, что взяли с собой подушки и одеяла. Но и они, как и ольховые ветки, спасали мало. Вот откуда у большинства ребят после цинги и зимнего обморожения прибавились еще и осложнения от ревматизма.

Как вскоре выяснилось, в ольховых зарослях была расположена замаскированная зенитная батарея. Командование батареей ругалось на чем свет стоит: «Кто разрешил поселить здесь детей? Что будет, если враг обнаружит наши батареи и начнет бомбить их?». Мы испуганно молчали. Молчали и педагоги. Чем все это кончилось — не знаю. То ли батареи перевели, то ли расчет сидел, притаившись, ничем не обнаруживая себя. Выстрелов мы ни разу не слышали.

Участок, где нам предстояло работать, находился примерно в двух километрах от ольховника. Там же, в наскоро переоборудованном под столовую сарае, нас и кормили. Наш путь пролегал по совершенно открытому полю. Представьте себе: по солнцепеку или в дождь по дороге бредет толпа голодных ребят, еле передвигая ноги. Дождей, правда, было мало. После суровой, холодной зимы наступило сухое, жаркое лето. Изнурительное солнце печет головы, то и дело кто-нибудь падает в обморок. Небольшая остановка, а затем дальше в путь. Работали до вечера, с небольшим перерывом на обед. Обратный путь казался нам короче, да и солнце уже не пекло так нещадно. Но чувство голода нас не покидало — на ужин мы получали только по куску хлеба и кружке так называемого чая.

Я кое-как справлялась с трудностями быта, но ревматические боли вывели меня из строя. Я с трудом двигалась и, конечно, пройти весь долгий путь до работы и обратно не могла. Пришлось одной оставаться в палатке, хотя было страшно. А вскоре приехала меня навесити мама. С большим трудом ей удалось получить пропуск, пришлось дойти до большого начальства. Помню, это был выходной, и все оби-

татели палатки сидели на месте. Мама привезла с собой котелок пшенной каши и сразу захотела покормить меня. Нас тут же обступили. Рты у голодных ребят открывались сами собой — судорожное жевательное движение — и опять открытый рот. Мамино сердце дрогнуло. Каша была положена в каждый рот. Мне, как и всем, досталась только пара ложек.

Принимая во внимание мое жалкое состояние, педагоги решили отправить меня домой. Была выдана справка, что я не дезертир, а возвращаюсь с трудового фронта ввиду болезни. Я уехала вместе с мамой. Дома сразу же попала в больницу, где провела остаток лета. Немного подлечилась, но ходила плохо еще долгое время.

С осени начались занятия в школе. 1942/43-й учебный год оставил у меня самые теплые воспоминания. В нашем восьмом классе сложился очень хороший коллектив, да и педагоги были замечательные. Они верили, что идеи гуманизма победят, и нам внушали эту веру, учили ценить все доброе и прекрасное. С особой благодарностью мы вспоминаем нашу преподавательницу русского языка и литературы Надежду Николаевну Брюлову (из семьи знаменитых Брюлловых). Ее уроки по литературе не укладывались в казенные рамки школьной программы. Она рассказывала нам об эпохе, в которой жил и творил тот или иной писатель или поэт, об его окружении. В это «окружение» входили и такие писатели и поэты, о которых школьная программа предпочитала умалчивать. Петр Великий и Пушкин были ее кумирами. Несмотря на тихий голос, ее слушали затаив дыхание. Получить на ее уроках оценку ниже «4» считалось неприличным. Да и она сама никогда бы не поставила ученику неудовлетворительную отметку, считая, что если у ученика знания слабые — в этом только ее вина. Ученик приглашался к ней домой, и она дополнительно с ним занималась. Жила она недалеко от школы, с двумя дочками — студентками Академии художеств. Дома она всегда угощала нас чаем и тем, «что Бог послал». Помню, как-то раз Надежда Николаевна заболела, и к нам прислали учительницу литературы из других классов. Она добросовестно прочитала главу из учебника, а потом стала требовать такого же досконального изложения учебника от нас. Что тут поднялось! Нам всем поставили двойки за поведение. Но мы не сдались, дружно всем классом в следующий раз «промотали» урок литературы, а затем отправились к Надежде Николаевне умолять ее поскорее поправиться.

Учиться нам, конечно, было нелегко. Сказывались большие прорехи в знаниях, но мы старались наверстать упущенное. Сказывались и трудности быта. Помню, как-то раз мы, насквозь продрогшие, сожгли

в печке кабинета химии какие-то лежавшие в углу рейки. Какой нагоняй мы получили от нашего преподавателя химии! Еще долгое время он продолжал называть нас «варварами» и «вандалами» за то, что мы «уничтожили труд других людей». После этого происшествия мы уже безропотно отправлялись пилить и колоть дрова, не трогая школьного имущества.

Вспоминаю Мирру Давыдовну Паллей — завуча нашей школы. Молодая, энергичная женщина обладала большим чувством ответственности и любила детей. Ей было поручено организовать питание для школьников. В то время, по распоряжению ленинградских властей, стали открываться специальные столовые с усиленным питанием. К столовым прикреплялись наиболее ослабленные школьники, сроком на один месяц. Для нашей школы такая столовая действовала при Доме культуры имени Первой пятилетки. Не знаю, как это Мирре Давыдовне удавалось, но благодаря ее стараниям весь наш восьмой класс пользовался этим усиленным питанием до конца учебного года.

Вспоминаю добрым словом и других наших учителей: Ирину Александровну Жукову — преподавателя физики, Басю Павловну Иоффе — преподавателя алгебры и геометрии. Можно еще многое рассказать о нашем школьном житье-бытье, в том числе и курьезное. Как, например, один наш одноклассник почему-то панически боялся Басю Павловну и каждый раз, когда она его вызывала к доске, с ним случался какой-либо конфуз. Или о том, что в школе тогда действовал только один туалет. Перед ним выставлялись дежурные, следившие за порядком посещения.

Но было и страшное. В 1942—1943 годах артобстрелы особенно участились. Мы должны были спускаться в бомбоубежища и там продолжать, по возможности, урок. Как-то раз сидели мы на уроке, в химическом кабинете, расположенном на последнем этаже. Вдруг здание школы несколько раз сильно трянуло, с треском посыпались оставшиеся стекла, осыпая мелкими осколками парты. Все бросились вниз. А у меня вдруг опять отказали ноги. Едва сползла с лестницы, видно страх помог мне.

Сильное чувство страха при артобстреле мне пришлось пережить еще дважды. Один раз артобстрел загнал меня во двор дома на канале Грибоедова. Только я успела миновать подворотню, как туда попал снаряд. Я буквально вдавилась в стену дома. Сколько так простояла — трудно сказать. Обстрел кончился, а я все еще «подпирала стену». Когда наконец отлепилась от стены и вышла на набережную, первое, что увидела, — лужу крови и оторванную голову. Другой раз артобстрел

загнал меня в парадную полуразвалившегося дома по Малой Подъяческой. Наступили уже сумерки, а обстрел все не кончался. Кругом никого, ни в доме, ни на улице. Это мне показалось самым страшным.

Январь 1943 года принес нам радость. 18 января наконец-то была прорвана блокада. Это событие одушевило всех. Я и две мои подружки побежали в райком комсомола, чтобы тут же вступить в ряды ВЛКСМ. По мере приближения к райкому наш пыл начал понемногу остывать — ведь никаких рекомендаций у нас не было. Робко войдя в кабинет секретаря райкома комсомола, мы в нерешительности остановились у его стола. «В чем дело, девочки?» — строго спросил он. «У нас нет письменных рекомендаций», — тихо в один голос ответили мы. Секретарь понял все. «Какие, к черту, письменные рекомендации! — закричал он. — Вот тут рядом снаряд попал в дом, обвалилась стена, засыпало людей! Помогите спасти их, это и будет вашей рекомендацией!». Мы тотчас же побежали туда. Людей, правда, спасти нам не довелось, но кирпичи и мусор выносили исправно. Работники райкома отметили наш труд, мы получили комсомольские билеты. Я до сих пор жалею, что по истечении комсомольского возраста пришлось сдавать билет с такой памятной для нас, ленинградцев, датой выдачи.

Однако было бы несправедливо вспоминать только одно тяжелое. Мы умели видеть и ценить те немногие радости, которые нам доставались. Юность брала свое, и ничто не было нам чуждо. Какую радость, например, получали мы от посещения театров и концертов! В Ленинграде тогда работали два театра — драмы и музкомедии. Театр музкомедии давал свои спектакли в помещении Театра им. Пушкина (Александринского). Бывало, придешь в театр, только начнется спектакль, — объявляется воздушная тревога. Приходилось выходить из зрительного зала в коридоры или вестибюль и ждать ее отбоя. Случалось, что спектакль так и не мог продолжаться. Зато как было здорово, когда удавалось посмотреть весь спектакль! Да простят артистам Штраус, Легар, Оффенбах и другие композиторы, если герои их оперетт отпускали не по тексту меткие реплики или острые шутки в адрес незадачливого фюрера, его приспешников и всех фашистов. Зрителям нравились эти репризы. Зрители шли в театр несмотря на то, что добираться из театра домой приходилось по темным улицам, рискуя попасть под обстрел или бомбежку. Вспоминается смешной случай, когда однажды, возвращаясь из театра в крошечной темноте (окна из-за маскировки света не пропускали), наощупь искала свой дом и дверь парадной.

А концерты в Филармонии, где прозвучала знаменитая Седьмая сим-

фония Д. Шостаковича! Такое же неизгладимое впечатление оставили концерты наших прославленных мастеров балета: Н. Дудинской, Ф. Балабиной, К. Сергеева. Три концерта в Филармонии дали летом 1943 года наши кумиры. За билетами мы стояли всю ночь, прячась в подворотнях, боясь, что нам их не хватит. Как мне недавно рассказывала Н.М. Дудинская, летели артисты из Перми, куда было эвакуировано Хореографическое училище, в сопровождении наших истребителей, обеспечивавших безопасность полета. Артисты в осажденном городе! Они самоотверженно сражались с врагом силой своего оружия — искусства, и воздействие этого оружия было неоценимо.

В начале лета 1943 года нас, троих комсомолок, вызвали в райком, где вручили направления на работу в школьные отряды, уезжавшие на огородные работы. Мы прикреплялись к этим отрядам как пионервожатые. Моему отряду из 232-й школы Октябрьского района предстояло работать в подсобном хозяйстве завода имени Марти, расположенном на станции Лисий Нос. Отряд был сборный, всего около 30 мальчишек и девчонок.

В Лисьем Носу мы прожили почти до конца сентября, пока весь урожай не был собран. Сентябрь выдался особенно трудным. Начались дожди и работать приходилось буквально по колено в воде. Но главное — ребят я привезла в Ленинград в целости и сохранности.

А дома — неожиданность: в школах ввели раздельное обучение. Чем это было вызвано, нам не объяснили, да и, наверное, сами педагоги не знали. Мою 252-ю школу сделали мужской, а нас, девочек, перевели в 239-ю школу на Адмиралтейском проспекте. Школа располагалась в историческом здании, построенном по проекту знаменитого архитектора Монферрана. Перед входом в здание стояли «два льва сторожевые», воспетые А.С. Пушкиным. 239-я школа тоже была блокадной. О жизни этой школы повествует книга ее завуча К.В. Ползиковой-Рубец «Они учились в Ленинграде. Дневник учащихся» [М.; Л., 1948]. Ксения Владимировна перешла после войны на работу в Эрмитаж.

Моих одноклассников переход в другую школу сильно огорчил. Как я уже говорила, в нашем восьмом классе сложился дружный коллектив, а расставаться с друзьями всегда нелегко. Тем более, что для мальчиков в Октябрьском районе мужской школы-десятилетки не было. Их перевели в 206-ю школу Куйбышевского района. Забегая вперед, скажу, что сперва мы поддерживали связь друг с другом, но постепенно наши пути разошлись. Особенно переживали переход в другую школу те из нас, кто учился в 252-й школе с первого класса и пережил там самый тяжелый период блокады.

В 239-ю школу перешли и некоторые наши учителя, в том числе и любимая наша преподавательница литературы Н.Н. Брюллова. Постепенно мы адаптировались в новой школе, водоворот школьной жизни увлек нас, но все равно с грустью вспоминали родную старую школу. У некоторых учеников не сложились доверительные отношения с новыми учителями. Справедливости ради должна сказать — в обеих школах мы учились у хороших учителей, любящих свою профессию и нас, своих учеников. Чтобы поставить последнюю точку в рассказе о 252-й школе, добавлю: годом позже ее окончили А.Д. Грач, В.В. Матвеев и В.П. Курылев — в будущем сотрудники нашего Музея.

Неожиданно мы все увлеклись художественной самодеятельностью. Из Дома народного творчества в школу пришла Надежда Валериановна Красовская. Своим артистическим и педагогическим мастерством она сумела расшевелить даже самых неспособных к драматическому искусству учениц, к коим относилась и я. Какой обширный репертуар у нас был! Какие таланты обнаружались! Звездой первой величины стала Галя Тимофеева — в будущем наша сотрудница Галина Николаевна Гоцко. Худенькая, застенчивая девушка с нервно трясущейся головой преображалась на сцене. Коронным номером Гали был монолог Липочки из пьесы Островского «Свои люди — сочтемся». Лучшего исполнения роли Липочки я никогда не слышала даже у настоящих артистов. Природная застенчивость помешала Гале поступить в Театральный институт. Но другие «звезды» художественной самодеятельности закончили его и разбрелись по разным театрам и концертным объединениям. После разделения школ несколько мальчиков, в том числе и Саша Куницын, с которым я училась в восьмом классе, пробовали включиться в нашу самодеятельность, но это не всегда получалось. Мы вышли из положения. Мужские роли стали играть сами. А Саша стал Александром Николаевичем Куницыным — заслуженным деятелем искусств России, профессором, заведующим кафедрой сценической речи Института театра, музыки и кинематографии, художественным руководителем театра «Время».

Мы много выступали со своими спектаклями. Ставили, помимо уже названных, «Урок дочкам» Крылова, отрывки из «Доходного места» Островского (я играла Юленьку). В оформлении спектаклей принимал участие не только весь класс, но и учителя. Так, для оформления спектакля «Урок дочкам» мы перетащили кресло и ковер из комнаты нашего директора В.В. Бабенко. Она жила при школе, так как ее квартира пострадала при бомбежке. Кто-то принес из дома старинную настольную лампу, приносили и другие необходимые для спектакля

вещи, в том числе и детали гардероба. Все это пригодилось нам и для «Доходного места». Костюмы заказывали в городской костюмерной.

Нас приглашали выступать в госпиталях. Чаще всего мы выступали в госпитале, находившемся в здании Географического общества. Раненые были самыми благодарными слушателями. Зато как мы волновались, когда приходилось выступать на школьных вечерах перед школьными шефами — военной бригадой артистов. В эту бригаду входил и В.И. Стржельчик — в будущем артист БДТ. Стройный, с белокурыми волнистыми волосами, голубоглазый красавец, он покорял наши девичьи сердца. В его репертуаре были отрывки из оперетт с пением и танцами, шуточные куплеты, довольно острые и пикантные, если они касались наших врагов (у учителей каменели лица). Выступления шефов сменялись нашими выступлениями, затем шли игры и танцы под «настоящую» музыку, исполняемую военными музыкантами.

С 1943 года возобновил работу наш районный Дом пионеров и школьников на Гражданской улице. Много интересных мероприятий провел он. Вспоминается встреча с английским писателем, его рассказы о странах, где ему удалось побывать. Заработали кружки. Мы с Галей Тимофеевой (Гоцко) стали посещать кружок балльных танцев. Вела кружок балерина Театра музкомедии М.В. Снежина. Ей помогала Нонна — наша сверстница. После окончания занятий Нонну встречал ее верный рыцарь Саша — впоследствии наш научный сотрудник А.Д. Грач. К сожалению, он и его жена Нонна Грач — сотрудница Эрмитажа — безвременно ушли из жизни.

А в ноябре 1943 года большую группу учащихся 239-й школы пригласили в Дом пионеров и школьников и торжественно вручили медаль «За оборону Ленинграда». Примерно двумя месяцами ранее в Исполкоме медалью «За оборону Ленинграда» награждали медработников. Маме был вручен орден Ленина.

Новый 1944-й год начался с радостного и долгожданного события. 27 января была снята блокада города. Нет необходимости комментировать, что это значило для всех нас, ленинградцев. Люди вздохнули с облегчением, предвидя конец войны, ну а мы, школьники, после празднования этого события продолжили свои обычные дела.

Начиная с весны в Ленинград стали возвращаться эвакуированные. Город заметно оживился, улицы перестали быть пустынными, трамваи ходили переполненными. С окон наконец-то сняли затемнение. На что были похожи наши квартиры при ярком свете! «Буржуйки», «коптилки», так выручавшие нас в тяжелые времена, основательно прокоптили все вещи.

В школе произошли большие перемены: она пополнилась за счет детей, вернувшихся из эвакуации, у нас образовалось пять десятых классов. При такой ситуации их можно было разделить по «языковому» принципу. Но все же в моем 10-м классе с английским языком учились две «французенки». Они со своей преподавательницей забирались в уголок классной комнаты и переговаривались шепотом. Для меня начало учебного года ознаменовалось большой неожиданностью — вызовом в Обком комсомола, где мне в торжественной обстановке вручили грамоту Ленгорисполкома за хорошую воспитательную работу в оздоровительном лагере летом 1944 года.



Вера Володина — студентка первого курса Ленинградского государственного университета.

Появились в городе и иностранные гости. Своим присутствием нас почтила и госпожа Клементина Черчилль. Тогда она казалась нам старой. Но вот недавно по телевидению показали кадр хроники того периода... Вот что значит молодость!

Пребывая в Ленинграде, госпожа Черчилль пожелала встретиться со школьниками, учившимися в осажденном городе. Встреча состоялась во Дворце пионеров. Собрались представители многих школ. От нашей 239-й школы во встрече участвовала и я. Мы пришли во Дворец задолго до ее прибытия. У многих на груди — медаль «За оборону Ленинграда». Конечно, немного волновались, да и стоять устали. Но вот в зал в сопровождении свиты вошла гостья в военной форме. Общие приветствия, какие-то речи. Вдруг ее взгляд остановился на мальчишке маленького роста, щупленьком, на вид лет 12, но с медалью на груди. «За что у тебя медаль?» — спросила, подходя к нему, гостья. «Как за что? — удивился мальчик и повел рукой в нашу сторону. — Как и у всех, за оборону Ленинграда».

Как-то мы разговорились с доктором философских наук Б.М. Фирсовым, работавшим в нашем Институте. Вспоминали блокадную юность, и оказалось, что он тоже присутствовал на этой встрече.

К восстановлению разрушенных зданий стали привлекать военнопленных немцев. Их уже никто не боялся: воинственный вид у них

пропал, многие выглядели сконфуженными и даже жалкими. Ходили они на работу группами, в сопровождении конвоира, но нередко ходили и поодиночке, очевидно в пределах того места, где работали. И — о, русские женщины, с их широкой душой и щедрым сердцем! Еще совсем недавно от них можно было услышать: «Встретиться мне фашист — своими руками бы удавила!». Но вот немец уже вроде и не враг, а поверженный, и ненависть стала уступать место жалости (хотя не берусь утверждать, что у всех). Женщины иногда и подкармливали пленных, давая им хлеб или еще что-нибудь, хотя норма выдачи продуктов по карточкам была не так уж велика. Одни делали это скрытно, другие бросали еду из окон. Мама тоже бросала из окна завернутый в бумагу хлеб. Немцы быстро усвоили этот прием и, когда ходили без конвоя, всегда поглядывали на окна. Говорили, что немцы заходят даже во дворы, где чинят женщинам разную домашнюю утварь: их руки тоже истосковались по мирной мужской работе.

Восстанавливать разрушенный город помогали почти все работоспособные ленинградцы. Нас, десятиклассников, старались особо не привлекать к каким-либо работам — из-за большой загруженности учебной. Не скажу, что мы превратились в усердных зубрил, но времени на что-либо другое действительно не хватало.

Учебный год пролетел незаметно. Приближалась пора экзаменов. За подготовкой к ним нас и застал Великий Праздник Победы. Мы считали своим долгом отметить его успешной сдачей экзаменов. Мы были первыми, кто получал аттестат зрелости. Мы были первым послевоенным выпуском. И мы осознавали такую ответственность.

Окончание школы отметили широко. Помимо торжественного акта в школе, отдел народного образования Октябрьского района устроил вечер в Доме учителя. На этот вечер нам разрешили пригласить почетных гостей. Мы, несколько человек балетоманов, бросились приглашать Н.М. Дудинскую. К сожалению, она не смогла присутствовать на нашем вечере из-за спектакля, но, чтобы не огорчать нас, пригласила на следующий день на генеральную репетицию балета «Золушка», который ставил специально для нее К.М. Сергеев. Известие о приглашении распространилось с невиданной быстротой. На спектакль пришли все пять десятых классов почти в полном составе. Наталия Михайловна растерялась. Но администратор не захотел портить нам наш праздник и каким-то образом устроил нас всех в переполненном зрительном зале.

Вот вкратце и все мои воспоминания о тех далеких временах. Хотя что-то за давностью лет стерлось из памяти, надеюсь, что это повествование поможет больше узнать о жизни школьников и тех, кто их окружал.

Т.А. Попова

ХРОНИКА БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ

Проходят годы, не годы — десятилетия. А память возвращает нас к событиям нелегкой военной поры. Память... Она и сегодня, и завтра и потом будет напоминать нам о войне. Я пережила с мамой более 300 голодных и холодных дней и ночей в самое тяжелое время ленинградской блокады: зимы 1941 года — весны 1942 года.

...Как и многих ленинградских детей, война застала меня на даче. После окончания второго класса 297-й школы Фрунзенского района с двоюродной сестренкой мы отдыхали в Вырице. Хозяева, уже пожилые люди, сокрушаясь, не переставали уговаривать родителей не увозить нас в Ленинград, а оставить у них. На одном из последних, редких уже поездов нас, конечно, привезли домой.

Однако к началу июля мы были готовы к новому путешествию. В городе началась эвакуация детей. Я в числе ребят разного возраста (от первого до десятого классов) также была эвакуирована на станцию Пестово, в Новгородскую область, от прядильно-ткацкого комбината имени П. Анисимова, где работала бухгалтером мама. В Пестово мы жили по типу пионерского лагеря, но работали. Для жилья нам были отведены деревянные дома — добротные деревенские избы. Лето было жаркое. Весь июль мы помогали колхозникам на полях и раньше срока убирали лен. Но в августе оставаться там уже было опасно. Немецкие самолеты бомбили эти места, а вскоре около близлежащих озер высадился парашютный десант. Незамедлительно весь лагерь был отвезен на подводах на железнодорожную станцию. Единственно, что нас тогда беспокоило, это — куда мы поедem? Только бы в Ленинград! Возвращались домой в переполненных вагонах, сидя. Все зимние вещи, взятые с собой, были одеты на



Таня — школьница.

случай бомбежки. Действительно, один раз наш состав бомбили, все были высажены, и мы довольно долго сидели в лесу, в канавах. Но дети есть дети. Лес был полон ягод, особенно много было морошки, и мы ее собирали, еще не совсем дозревшую, чтобы привезти домой, мамам.

Наконец наш город! Неважно, что мы шли по перрону Московского вокзала наголо остриженные, в зимних пальто и валенках. В городе уже с 17 июля были введены карточки на основные продукты, но, как помнится, на вокзале, в ларьках и буфете в свободной продаже было еще много печенья, булочек, шоколада.

Дальше начались, казалось, бесконечные налеты, артобстрелы и... голод. Первый массированный налет на Ленинград был, как известно, 8 сентября. Стоял теплый солнечный вечер, и мы с любопытством, которое могло обернуться бедой, наблюдали за огромным количеством летящих в высоком голубом небе самолетов и еще большим числом падающих зажигательных бомб. А вскоре после 8 сентября, когда замкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда, был один из самых страшных дней, когда наш дом был разбит. Это произошло 19 сентября 1941 года около четырех часов дня. Мы с сестренкой сидели на широких подоконниках (вторые рамы были сняты) и занимались рукоделием. Когда объявили тревогу, мы еще раздумывали, идти ли в бомбоубежище. Но мамы, уходя на работу, каждый раз повторяли одно и то же: «Как объявят тревогу, сразу в бомбоубежище!». Только мы успели спуститься, как раздался грохот разорвавшейся бомбы, зазвенело в ушах. Рассыпались мешки с песком, которыми были заделаны окна бомбоубежища, оказался засыпанным и вход в него. По счастливой случайности, если уместно здесь так сказать, бомба попала не в квартиры, а в лестничную клетку. Долго нам пришлось ждать, пока нас откопали и перевели в сохранившееся газоубежище. Прошло несколько дней, и мы узнали, что в тот день был интенсивный налет и пострадали многие дома нашего микрорайона. Говорили, что по этому маршруту летел самолет, пилотируемый молодой летчицей. Когда ее принудили приземлиться, у нее был обнаружен план района с Московским вокзалом и Знаменской церковью. Но церкви уже не было, она существовала до 1934 г., но на плане значилась (теперь здесь метро «Площадь Восстания»). В радиус бомбежки входили еще Владимирская церковь и Дом культуры пищевиков, где размещался госпиталь, рядом с которым находился наш дом.

Хотя квартира осталась невредимой, мы с мамой переехали жить к родственникам на Малодетское сельский проспект. И здесь вместе — две

мамы, которым тогда было меньше лет, чем нам сейчас, и две их дочки — пережили самое тяжелое время.

Все труднее становилось с продуктами. Буквально все, что было еще в продаже, старались купить. Долго, до поздней осени, в ларьках торговали квасом, из которого получался вкусный кисель. В один из сентябрьских дней мы с сестренкой отправились за ним. Очередь стояла большая, у ларька была давка, многие прорывались без очереди. Надежды не было. Тогда мы возвратились домой, написали много номерков, а вернувшись, раздали каждому его очередной номер. Только, как говорится, все наладилось, начался артобстрел. Несмотря на это, очередь не шевельнулась, все остались на своих местах. В это время подошел милиционер и сказал, что эта сторона обстреливается, — она более опасна. Несколько человек ушли, домой ушли. Побежали домой и мы. Когда кончился артобстрел, мы, естественно, снова помчались за квасом, но... ларька на Угловом переулке (напротив Фрунзенского университета) уже не было. В него попал снаряд, и вместо очереди, которая шумела еще полчаса-час назад, лежали изуродованные человеческие тела.

С каждым днем, все больше и больше, наши мысли сосредоточивались на еде. Всем ленинградцам-блокадникам хорошо знакомо это навязчивое, сосущее чувство голода. Но мы твердо придерживались главного правила — все делить поровну между собою и все делить по дням. Никогда не забуду, как осталась «лишняя» порция риса (20 граммов!), которую можно было сварить не один раз в день, как обычно, а два. В ожидании следующего дня мы не спали всю ночь. Некоторое время выручала льгота за папу — как ребенок, я имела пропуск в столовую, где дополнительно к пайку получала кусок картофельной запеканки, которую приносила домой, и мы ее делили на четверых.

Все вместе мы ходили и за водой. Воду брали в саду «Олимпия», где стояли зенитные батареи. Здесь красноармейцы сделали большой деревянный колодезь, который периодически освещался электрической лампочкой. Если шли вечером, то обязательно надевали «бессменных часовых» — «светлячков».

Все знают, что с декабря месяца в Ленинграде стало особенно тяжело. Как почти каждая ленинградская семья, мы также потеряли близких людей. В декабре 1941 года от голода умер дядя, а в январе — бабушка. На моих детских санках отвезли их на Волковское и Охтинское кладбища.

Очень долго и томительно ждали вестей с фронта от папы. Шел месяц за месяцем, и только регулярно поступающий его аттестат давал нам надежду на то, что он жив. Он служил сначала на Балтийском



Татьяна Александровна Попова, заведующая Отделом археологии, кандидат исторических наук, специалист по трипольской культуре эпохи неолита (IV—III вв. до н.э.). Автор многих работ по материальной и духовной культуре древних земледельцев-скотоводов Юго-Запада Восточной Европы. В годы войны, как все школьницы, помогала взрослым преодолевать тяготы блокадной жизни.

флоте, а затем, большую часть войны, — на Северном, в Заполярье (полуостров Рыбачий). Сколько было радости, когда перед самым Новым годом от него наконец пришло первое письмо. При керосиновой лампе, с зеленой нарядной елкой, украшенной игрушками, которые мы сами смастерили, со студнем из клея и конфетами из дуранды, мы встречали Новый, 1942-й год.

Несмотря на трудности, мы, как могли, подбадривали друг друга, заботились и были внимательны. Не один раз бывали в кинотеатре «Олимпия». В холодном зале, но с удовольствием смотрели «Музыкальную историю» и другие фильмы. Позже это здание было разбито.

И, конечно, самым важным источником стойкости и веры было радио, которое не отключалось никогда.

Хочется сказать и о своеобразном восприятии опасности. Чувства страха, боязни не было, они как-то притупились, ушли на второй

план. Иногда во время налета мы не ходили в бомбоубежище, и если это было ночью, то просто спали. А когда шли туда, всегда брали с собой небольшой чемоданчик, где лежали свечка со спичками, полотенце и мыло, молоток (чтобы стучать, если засыплет) и... довоенная пачка печенья — неприкосновенный запас. Так поступали многие ленинградцы. Были и специальные рекомендации на этот счет.

Говоря о блокаде, о ее тяготах и лишениях, с горечью вспоминают некоторые неприятные моменты. Через несколько месяцев после того, как дом был разбит, он еще и горел. Поджег его лазутчик. В одну из квартир флигеля, соседнего с нашим, приехал человек, который отрекомендовался жившей там женщине, что он прибыл из части, в которой служит ее муж, попросил переодеться в штатское, принес ей две буханки хлеба. Не успела женщина куда-то отлучиться, как незнакомец облил лестницу начиная с четвертого этажа соляром и поджег. Возник пожар. Тушить его было трудно, так как стояли студеные январские дни. Потом мы все, кто как мог, помогали погорельцам.

Не падая духом, облегченно встретили весну 1942 года. В перерывах между тревогами и артобстрелами ходили греться на солнышко на Невский проспект. Было в этом что-то отрадное и символичное. Мы — живы, мы — на своем Невском, наперекор всему. Весной работал Дом книги, и мы купили там «Избранные произведения М.Ю. Лермонтова», выпущенные к столетию со дня гибели поэта, перед самой войной. Этот том и сейчас хранится в доме, как память о блокадных днях.

В апреле началось оживление и в школах. Все оставшиеся дети из многих школ района были собраны в 321-ю школу на Социалистической улице. Наши детские карточки мы сдавали в школу полностью и три раза в день питались там. Но в дни блокады детства не было. Мы как-то не по годам повзрослели и возмужали. Ребята мыслили категориями взрослых людей.

На этом можно было бы и закончить, но с блокадой связан и другой период — эвакуация на Большую землю, во время которой было также немало пережито. Как известно, Военно-Морской Флот был в те годы самостоятелен, отделен от Красной Армии. В начале лета 1942 года, как семья комсостава, по распоряжению военкомата, в обязательном порядке, мы были эвакуированы, и никакие отказы не помогли. После сдачи карточек в райсовет, с удостоверением (форма № 7) мы перебрались через Ладогу на ее восточный берег, откуда эшелон шел до Ярославля. Эвакопункт в Ярославле определил нас на теплоход до г. Астрахани. Однако развернувшиеся военные действия вблизи Вол-

ги не позволили нам туда доехать. Нас высадили в станции Николаевке, но через месяц здесь стало еще беспокойнее — фашисты рвались к Сталинграду. Тогда нас срочно отправили в г. Энгельс, где нас должны были присоединить к морскому училищу. До Энгельса мы и еще несколько семей добирались на небольшом военном разъездном катере три дня. Эти три дня тянулись как вечность. Продуктов почти не было. Главное — бомбили Волгу, бомбили нещадно, как Ленинград. Отвлекали лишь остановки около красивейших, но уже покинутых садов, где мы набирали яблоки, и живописных берегов великой реки России. То тут, то там стояли прижатые к берегам разбитые суда и танкеры. Несколько раз мы причаливали к ним и запасались бензином.

Затем было Иваново, затем — Свердловск, и только в августе 1944 года, проехав в товарном вагоне около недели от Урала, мы вернулись домой, в Ленинград.

Блокада, эвакуация, где ходили в госпитали, ухаживали за ранеными, показывая им бесхитростные концерты, встречи с отзывчивыми людьми тыла, которые тоже много делали для Победы, все это, безусловно, подготовило нас к жизни, помогло в дальнейшем любить прекрасное и ненавидеть отвратительное, воспитало чувство взаимоподдержки, доброжелательности, научило оптимизму даже в сложных условиях.

А совсем недавно, разбирая семейный архив, я обнаружила удостоверение, датированное июлем 1941 года. В нем говорится, что мама командирована в Пестово, но поездка не состоялась, ибо ее опередили события, о которых я писала выше. Самое любопытное состоит в другом — оно было напечатано на довоенной театральной афише (с бумагой уже было плохо, ее берегли!). На ней со щемящим сердце чувством читаем о репертуаре в мирные дни: «“Мария Стюарт”. Постановка засл. арт. Респ. Н.Н. Бромлей...».

Эта ценная находка и послужила основанием для рассказа о том, как память десятилетней девочки зафиксировала многие моменты жизни во время блокады, во время войны. И хотя с каждым годом все больший срок отделяет нас от событий войны, воспоминания не становятся расплывчатыми или аморфными, наоборот — они четкие и приобретают новый, особый смысл.

Сейчас это особенно важно, когда все честные люди прилагают общие усилия для сохранения мира на планете Земля. И я благодарна судьбе и организаторам издания, что мне предоставилась возможность поделиться своими воспоминаниями в настоящем сборнике.

Г.Н. Грачева

ДЕТИ БЛОКАДЫ

Какой великий подвиг совершили ленинградские матери, спасая своих детей от смерти, сокращая свой и без того голодный паек, стараясь побольше дать детям, защищая их своим телом и всей своей жизнью от смертельной опасности! Глубокий поклон и светлая память всем блокадным ленинградским матерям!

Ко времени блокады моей маме было сорок шесть лет. Она — член КПСС с марта 1917 года. Участие в революционной демонстрации в Петрограде в феврале 1917 года, работа в подполье, руководство госпиталями прифронтовой полосы Южного фронта во время гражданской войны, бои на Северном Кавказе не прошли даром. Зарубцевавшаяся костное ранение одной ноги и перелом другой все время давали о себе знать. Какие физические силы и какую силу духа надо было иметь, чтобы вынести еще и блокаду?!

Когда память уносит меня назад в то, теперь уже далекое блокадное время, она выхватывает очень ясно отдельные картины и заставляет снова и снова впадать в отчаяние, радоваться, замирать от ужаса, холода и боли, смеяться. Кажется, что все это было только вчера.

Июнь 1941 года. Мне шесть лет. Мы на даче под Ленинградом. Теплое ясное летнее утро. Солнечные лучи пронизывают нитями густую сочную зелень листвы. Сквозь березовые ветви высоко и ярко



Галина Николаевна Грачева, старший научный сотрудник Отдела Сибири, кандидат исторических наук, специалист по этнографии самодийских народов Таймыра. В годы блокады вместе со своими одноклассниками помогала расчищать город, таскать на громадных носилках тяжелый мусор, маленькими ведерками черпать воду, проявляя, по словам их учительницы, «гражданское мужество». Награждена медалью «За оборону Ленинграда». Трагически погибла во время экспедиции 1993 года.

синеет удивительно чистое небо. Чувство бесконечной радости. Хочется бегать, прыгать, брызгаться в золотой от солнца теплой воде. Война. Еще невозможно осмыслить, что это такое? Почему взрослые так тревожны? Почему прерывистые гудки станционных паровозов звучат так долго и так настойчиво строго? Почему гости, которые приехали, чтобы провести вместе с нами лето, так быстро собираются снова домой? «Конечно, война не продлится долго. Месяц, два. Но лучше быть дома».

Невдалеке от нашей деревенской улицы в поле приземляется фашистский самолет со свастикой на крыльях. Интересно. Все ходят на него смотреть. Летчик, видимо, арестован. Это случайность. Дачники спешат вернуться в Ленинград. В переполненном поезде мы с мамой тоже возвращаемся.

Московский вокзал. Он весь забит людьми. Но не слышно обычного вокзального гомона. Говорят тихо. Привычные выходы в город закрыты. Милиционеры направляют приехавших в другие проходы. Попадаем в один из вокзальных залов. На полу на матрасиках лежат забинтованные дети. Их очень много, они неподвижны. Матрасики почти прижаты один к другому. В середине лишь узенькая дорожка, по которой быстро идут люди. Мама крепко прижимает меня к себе, старается побыстрее пройти эту узенькую дорожку. А со всех сторон на нас смотрят молчаливые широко раскрытые глаза из невыносимо белых бинтов. В них застыло удивление и страдание. Как страшно и как больно! Война...

Наша большая коммунальная квартира постепенно пустеет. Нет соседей справа. Их семья с тремя детьми еще в мае уехала на лето на юг. Там их застала война. Соседи справа эвакуируются. Уезжают на легке, рассчитывая вскоре вернуться. Семья агронома перебирается в колхоз на северной окраине Ленинграда. Из шести семей остаются только две: Спесивцевы и Никифоровы (это мы). Семья известных балетных танцовщиков Спесивцевых, живущая в нашей квартире, состоит из пяти человек: бабушка — мать знаменитой Ольги Спесивцевой, ее сын Анатолий Александрович — танцовщик Малого оперного театра, с женой Софьей Николаевной (врач-педиатр) и двумя детьми, Витей, который младше меня на три года, и маленьким Максимкой, родившимся после начала войны. Идут разговоры о возможном голоде. Мама покупает большую круглую булку про запас. Но булка черствеет, и мы ее постепенно съедаем. Уезжает на три дня домой в Эстонию Эля Эртис, студентка фармацевтического техникума, с которой мы жили вместе последние годы. Она уже не возвращается.

Мама вывешивает на стену карту Советского Союза. Красные була-

вочки все ближе отодвигаются к Ленинграду. Теперь на работу почти каждый раз мы ездим вместе. Мама ведет прием больных, я сижу в углу кабинета, читаю или хожу «в гости» к другим врачам, в лабораторию, в зубопротезную мастерскую, где так приятно пахнет розовый воск, перетаскивая за собой скамеечку, чтобы достать до полок, помогаю в регистратуре.

Еще есть возможность эвакуировать детей. Этот разговор потихоньку от меня происходит в мамином кабинете. «Вы врач. Ваша помощь может понадобиться в Ленинграде. Ребенок требует постоянных забот. Детские сады эвакуируются. Там за детьми будет хороший присмотр. Вам не надо будет каждую минуту думать о ней. Вас ведь только двое. Ее не с кем оставить». Женщина слишком настойчива. Я должна стоять у окна и ничего не слышать. Поднимаясь на цыпочки, вижу Московский вокзал, возле которого парами друг за другом стоят дети в белых панамках с узелками. Они подходят к вокзалу по Невскому мимо развалин Знаменской церкви, с Лиговки. Нарастает ужас предстоящего расставания. «Мама! Не отправляй меня!». Слышу громкий мамин шепот: «Нас только двое. Мы должны быть вместе. Поодиночке мы умрем. Умирать — так вместе». Я оборачиваюсь. Она смотрит на меня и улыбается. Мы, конечно же, вместе не можем умирать! О какой смерти вообще может идти речь, когда мы вместе?

Заклеиваем полосками бумаги стекла в окнах. Солнечная комната становится похожей на золотую клетку. В амбулатории на подоконнике лестничной площадки появляется ручная сирена-вертушка. Ее пронзительный вой достигает самых отдаленных уголков здания.

Фашисты обстреливают и бомбят город. Фугасные бомбы, попадая в дома, разрушают этажные перекрытия. На улицах появляются пустые коробки домов с зияющими насквозь оконными проемами. Если мы дома, во время сильных налетов устраиваемся в коридоре квартиры, прижимаясь к толстой капитальной стене. Говорят, что так можно спастись, если бомба попадет в дом. В подвале есть и бомбоубежище. Однажды мы пережидали там воздушную тревогу. Но больше не помню, чтобы кто-нибудь из нас туда спускался. Трамваи уже не ходят, зато мы ходим на работу пешком с Петроградской стороны от площади Льва Толстого к Московскому вокзалу. Иногда я остаюсь дома одна.

Осенью пустующие комнаты нашей большой квартиры заполняют семьи, переселенные с переднего края обороны Ленинграда, из ленинградских пригородов. В одной из них поселяется семья Петровых — рабочих Кировского завода. Их пять человек: муж, жена, старший сын Володя, две девочки — Нина двенадцати лет и Настя, моя ровесница.

В другой — семья колхозников Куровых. В маленькую шестиметровую комнату, некогда предназначавшуюся для прислуги, въезжает семья Трусовых из четырех человек.

Наступают холода. У нас появляется маленькая печка, сделанная из обычного дачного ведра, труба ее выходит в камин. Вместе с мамой пилим и рубим для нее дрова — маленькие поленья по 20 см из нашей мебели. Эта работа оказывается невероятно трудной. Мебель старая, сработана из добротной крепчайшей древесины. Мамины силы убывают — голод дает себя знать. Я рублю топором дрова прямо в комнате на прекрасном дубовом паркете. За дверью в коридоре около двадцати мороза. У нас в комнате тоже мороз, но меньше: всего около двенадцати. Даже днем темновато. В одну из бомбежек оконные стекла взрывной волной высосало наружу. С большим трудом удалось достать куски фанеры, чтобы заделать проемы.

Мы идем за водой. В руках у мамы ведро, у меня — небольшой бидончик. Больше нам не донести. Идти не далеко. Надо выйти из дома на площадь Льва Толстого, повернуть на Кировский, и через два дома в переулке открыт люк, из которого достают воду. Но достать ее тоже не легко: вокруг люка скользкая ледяная гора. Несколько женщин, обмотанных платками, ползком пытаются подобраться к люку, то и дело съезжая вниз. Мама держит меня за платок и подталкивает сзади. Пытаюсь забросить на веревке бидончик в люк. Вода не набирается, он плавает на поверхности. Снова и снова бросаю его вниз. Тем временем мои ноги примерзают к мокрому льду. Наконец-то набралось немного воды. Осторожно вытягиваю. Предательская ледяная корка у кромки люка зацепляет бидончик, он переворачивается, и вода выливается обратно. Колени совсем заковенели. Все начинаю сначала...

Оставаясь одна, я почти не выхожу из комнаты. Уже много написано благодарных слов о ленинградском радио в дни блокады. Для многих детей оно было большим другом, не давало унывать, образовывало прекрасными передачами, воспитывало великолепным чтением лучших классических произведений. К тревогам и обстрелам привыкли. Но на это время включали метроном. Для детей, оставшихся в одиночестве в промерзших ленинградских квартирах, чистые звуки трубы отбоя воздушной тревоги означали и продолжение радиопередач. А значит означали и то, что холод и голод, постоянно преследующие сознание, отступали. Невыносимо длинные часы ожидания сокращались. Ведь держать в руках книжку или рисовать, шить не давал мороз. Нужно было, свернувшись в кресле калачиком, укрывшись оде-

ялом, беречь тепло. Вместе с Ниной и Настей Петровыми иногда мы устраивались втроем на кровати под одним одеялом, как в чукотском пологе, и слушали радио или читали вслух, согревая друг друга.

Их мать обычно дома. Отец и старший брат продолжают ходить на работу, на Кировский завод. Настает время, когда они приходят домой только раз в неделю, потом — раз в две недели... Их приход — всегда событие. Ведь Кировский завод на переднем крае, а значит — он живет и работает.

Однажды отец возвращается один. Он сильно простужен, лежит. А через несколько дней в этой семье беда. В магазине у матери украли хлебные карточки на неделю. Она в отчаянии. Отец умирает. Володя так и не возвращается с завода. Вскоре умирает и мать. Нина и Настя остаются одни. Соседи, как могут, поддерживают девочек. Чаще всего они сидят у Трусовых, в самой маленькой и самой теплой комнате, нагреваемой телами и дыханием людей.

Наши с мамой расставания невыносимы. Обратная дорога от Московского вокзала на Петроградскую невероятно тяжела. Несколько раз мама садится отдыхать. Но садиться нельзя. Сесть и расслабиться — значит умереть. В декабре мы получаем открытку от жены маминого брата. Они живут у Кузнечного рынка. Им нужна помощь, все слегли. Решаем перебраться к ним. И до работы от них ближе. Увязываем на саночки какие-то вещи и в сильнейшую стужу отправляемся, оставляя нашу квартиру с комнатой-мертвецкой. Там лежат бабушка и Максика Спесивцевы, старик Куров, муж и жена Петровы.

Тяжелый переход к Кузнечному едва не стоил маме жизни. В первую очередь помощь понадобилась ей. И сколько раз еще за время блокады холодом, голодом, болезнями, обстрелами и бомбежками смерть заносила над нами свою косу!

Вернувшись домой в феврале, мы узнали, что вскоре после нашего ухода умерла Нина Петрова. Настю взяли к себе Трусовы. Они как могли выхаживали ее. У них она прожила всего около месяца. Спасти ее было невозможно. Петровы все умерли.

Сейчас, говоря о блокаде, о тяжелых потерях зимы 1941/42 года, в пример приводят семью Савичевых. Дневник маленькой Тани Савичевой стал символом судьбы очень многих ленинградских детей. Для меня — это Петровы. Еще в октябре — веселье, жизнерадостные Нина и Настя, полный сил Володя, суровый, сосредоточенный их отец, всегда озабоченная хлопотунья-мать...

В самую суровую зиму и позже мы очень много читали. Наши домашние книги постепенно исчезали в маленькой печурке, и чтения

явно не хватало. Ближайшая очень хорошая библиотека была расположена недалеко, в Доме культуры Промкооперации. Теперь это — Дворец Ленсовета. Библиотекарь, маленькая приветливая женщина с каким-то приподнято оптимистическим настроением, всегда была там. Зинаида Николаевна умела создать для каждого своего посетителя праздничное настроение. Библиотека притягивала к себе людей. Как много хотелось взять с собой книг, глаза разбегались. Кроме довольно серьезной литературы обязательно старались выбрать книги увлекательные, с веселым юмором. Самыми любимыми были рассказы М. Зощенко, украинские произведения Н.В. Гоголя. Для меня — большая, с множеством картинок книга Б. Житкова «Что я видел?», «Приключения Травки». Самые веселые места прочитывали вслух по нескольку раз. Коллизии сюжетов, юмор вызывали смех. А юмор и смех увеличивали силы. Много книг было прочитано из серии «Жизнь замечательных людей». Их упорство в преодолении трудностей, настойчивость, с которой они шли к успеху, тоже придавали силы.

Ранней весной 1942 года мама определила меня в детский сад-интернат. Он располагался в одном из деревянных строений Ботанического сада. А осенью там же в Ботаническом саду для детей открыли школу, состоявшую из трех классов. С большим трудом, так как мне еще не было восьми лет, только учитывая то, что я свободно читала и могла писать, меня вместе с несколькими другими детьми интерната приняли в школу в первый класс.

Анна Петровна Леонтьева — наша первая учительница. Высокая пожилая худая женщина с совершенно белыми стриженными волосами, в неизменной длинной коричневой юбке и черном пиджаке. Она постоянно с нами. Уроки часто прерываются обстрелами, бомбежками. Отсидживаемся в бомбоубежище, расположенном под зданием Главного гербария. Облепив со всех сторон Анну Петровну, слушаем ее чтение. В классе над черной доской висит лозунг, написанный красными буквами: «Садясь на школьную скамью, не забывай, что ты — в строю!». Каждая победа на фронте обсуждается, каждая возникшая трудность преодолевается вместе. Если сегодня кто-то не появился в классе, тут же двое или трое отправляются к нему домой. Мы делаем все, чтобы наш большой класс не поредел.

Большинство из нас невероятно плохо одеты. Особенно страдали от отсутствия теплой обуви. Анна Петровна добивается выдачи дополнительных ордеров на одежду, обувь. Вопрос, кому их выдать, обсуждается всем классом. Самые нуждающиеся выстраиваются у доски. Остальные смотрят на их одежду и решают. Для такого решения мы —

взрослые. Наши успехи или неудачи все время сравниваются с фронтовыми делами. Никаких скидок на голод или холод, замерзшие чернила, коченеющие руки и ноги. В классе мы сидим в зимней одежде. Больше всего ценится гражданское мужество. «Где твое гражданское мужество?» — спрашивает Анна Петровна. Это значит, что кто-то не приготовил урок, соврал, недобросовестно сделал порученное дело.

У нас дома в комнате появляется жилец. Он поселяется в углу, отгороженном шкафами. Это сотрудник МАЭ Василий Васильевич Федоров, хранитель археологических фондов МАЭ. Он приходит к нам из квартиры, расположенной с противоположной стороны нашего большого дома. От взрыва фугасной бомбы на улице через стену прошла громадная трещина. Оттуда жильцов переселяют в нашу часть дома. Предоставили Василию Васильевичу комнату Петровых. Но жить одному в холодной комнате невозможно, а у нас на месте ведерной печки стоит небольшая кирпичная плита, и температура ниже пяти мороза не опускается, а в основном она — положительная. Мы живем все вместе. Так теплее. Василий Васильевич сильно сутулится, немногословен, на руках шерстяные перчатки с обрезанными кончиками пальцев. Он устраивается, принес с собой книги, рукописи. Что-то пишет, сидя у печки, держа тетрадь на коленях. С интересом заглядывает в мои тетрадки, поправляет. Однажды он приносит радиорепродуктор в деревянном футляре, и мы торжественно заменяем им нашу черную тарелку. Сильные чистые звуки левитановского голоса наполняют комнату: «От Советского Информбюро...». Время от времени он отправляется на Университетскую набережную. Иногда отсутствует неделю и больше. Он — на казарменном положении.

Свободные от работы дни заняты поисками дров. Мама ездит на разборку деревянных домов куда-то к «Гиганту», обычно привозит оттуда по небольшому бревну. Такое бывает не часто. В разрушенных домах в округе подбираем каждую щепочку, все, что может гореть.

Для того чтобы приготовить уроки, я ставлю на плиту бутылочку с замерзшими чернилами и забываю открыть пробку. Мы сидим за столом и разговариваем. Раздается щелчок. О ужас! Все стены возле печки, стенка камина, пол, стоящие на плите кастрюли покрыты крупными фиолетовыми пятнами. Сначала, как и полагается, мне достается за закрытую пробку. Но потом, когда первая гроза миновала, и на случившееся можно посмотреть другими глазами, мы начинаем до слез смеяться. Фиолетовые плоды просвещения отмываются с большим трудом. Еще долгое время всем приходящим к нам не надо сообщать, что я уже хожу в школу.

В январе 1943 года мама тяжело болеет. Я ухаживаю за ней. Топлю печку, готовлю еду, кормлю. Ей очень плохо, и страх потерять ее заставляет меня не отходить от нее ни на минуту. Высокая температура. Глаза закрыты. Она молчит. Поздно ночью, приподняв веки, тихо спрашивает: «Что там в сводке?» — «Блокада прорвана!» — «Ах, ну какая же ты невнимательная! Что же ты мне раньше не сказала? Это же замечательно! Мне уже лучше. Ложись спать. Завтра — в школу. Теперь уже все будет хорошо». Через некоторое время она спокойно засыпает. Укутываюсь и ложусь и я. Мама поправляется, блокада прорвана, значит, прибавят хлеба, скоро придет теплая весна, потерявшиеся санки нашлись... Все очень хорошо!

Весной и летом 1943 года весь наш класс работает в парке Ботанического сада на огородах. Расчищаем землю от осколков кирпичей, стекол, щебенки — следов разрушения оранжерей и соседних зданий. Вспахиваем грядки. Поливаем. Сажать и полоть нам не доверяют. Мы упорно таскаем на громадных носилках тяжелый мусор, маленькими ведерками воду. Анна Петровна радостно и торжественно отмечает наше «гражданское мужество». Вместе с ней мы в День Победы прошли по Дворцовой площади. А через некоторое время она была награждена орденом Ленина.

Мама после войны долго могла ходить только на костылях. Прошло несколько лет упорного лечения, прежде чем она смогла их оставить.

Г.И. Дзенiskeвич

МОЯ ПАМЯТЬ ХРАНИТ ВСЕ УЖАСЫ ВОЙНЫ...

Разные бывают воспоминания детства: приятные — мы по многу раз сами будим их в своей памяти; неприятные, и тем более страшные — гоним, стараемся забыть, но... именно они с поразительным упорством чаще прочих всплывают вновь, вызванные какой-либо случайной ассоциацией...

Мирная ночь. Война уже далеко позади. По улице спящего города лихой водитель гонит грузовик. Постепенно нарастая, шум мотора звериным воем врывается в распахнутое окно, и ты вдруг вскакиваешь с постели, дрожа от застаревшего, непрошедшего страха, и вновь встает перед тобой неправдоподобная картина того военного утра у станции Сонково:

Августовское утро 1941 года. На развороченном железнодорожном пути мечутся ошалевшие от паники и страха беженцы, а над ними с диким ревом носится взбесившийся фашистский «мессер», пуская очереди в незащитных стариков, женщин, детей. За моей спиной — разбитый, горящий эшелон, и предательски далеко — спасительный лес.

Я падаю, прижимаюсь к земле и с последней надеждой ищу глазами мать и брата.

Незнакомая женщина накрывает мою голову тазом... Под темным гулким колпаком мне становится еще страшнее. Приподнимаю «крышку» и в ужасе вижу: прямо на меня, как мне тогда казалось, с оглушительным воем и свистом падает самолет. Я опускаю глаза и цепенею в страшном ожидании...

Горящий «мессер» врзался в лес. Этого я, правда, уже не видела. Картину воздушной схватки истребителя с немецким бомбардировщи-



Галина Ивановна Дзенiskeвич, забедующая Отделом Америки, кандидат исторических наук, специалист в области этнографии индейцев Северной Америки. В августе 1941 года в детстве попала под бомбежку фашистского «мессера».

ком мне позднее дорисовал мой брат, рядом с которым в тот час не оказалось женщины с тазом.

И вот прошло уже более пятидесяти лет. Моя память по-прежнему хранит все ужасы войны: ночные бомбежки, пожары, голод (мы с матерью так и не смогли уехать тогда далеко от Москвы); однако, когда теперь в предутренний час по моей улице с нарастающим воем несется мирный грузовик, я просыпаюсь в страхе, и передо мной вновь оживает картина того августовского дня. Хочу, но не могу забыть его.

Т.А. Шрадер

НОЧЬЮ В НАШ ДОМ ПОПАЛА БОМБА

Я родилась в Ленинграде в 1939 году. До начала войны моя семья проживала на ул. Большая Зеленина, дом 14. В сентябре 1941 года ночью в наш дом попала бомба. В памяти остался какой-то непонятный ужас и вкус извести во рту...

Семья с остатками вещей переселилась в соседний дом, где нас расселили в помещении бывшего детского садика. Помню большую, перегородженную шкафами комнату, в основном темную. Запомнился возмущающийся чем-то дедушка, который вскоре умер. Оказалось, что кто-то украл у нас хлеб.

Отец служил тогда на Ленинградском фронте офицером морского флота и мог немного помогать нам хлебом. Очень хорошо помню момент рождения брата, ночь, крик мамы и какая-то бегущая в белом халате женщина. Мама родила брата 3 марта 1942 года сразу после смерти бабушки. Принимала моего брата акушерка, бабушкина приятельница, работавшая в свое время у врача Шредера, основавшего родильный дом.

Значительно более яркие воспоминания со времени эвакуации. Отец помог семье эвакуироваться летом в Вологодскую область, затем мы переехали в Вологду. Вернулись в Ленинград до окончания войны в 1945 г.



Татьяна Алексеевна Шрадер, старший научный сотрудник Отдела этнографии европеистики, кандидат исторических наук, специалист в области скандинавской филологии, истории немцев Петербурга и Петербургской губернии. Автор многих работ, в том числе переводов с норвежского языка. В детстве два года прожила в блокадном Ленинграде.

В.П. Дьяконова

СТРАНИЧКА ИЗ БЛОКАДНОГО ДНЕВНИКА



Вера Павловна Дьяконова,
кандидат исторических наук,
этнограф и археолог, специа-
лист по тюркоязычным наро-
дам Южной Сибири. Все 900
блокадных дней провела в
Ленинграде. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».

«...По радио транслируют концерт для партизан Ленинградской области. Вчера была встреча партизан с Ленинградом. Город как-то красив, радостен. Да... Давно ли ленинградцы находились под постоянной опасностью. Артобстрел нарушал жизнь многих ленинградцев. Сколько сирот, сколько калек от рук фашистских захватчиков. Но будет праздник и на нашей улице. Сейчас немцы отогнаны от Ленинграда и город возвращается к нормальной жизни. Идет восстановление фабрик и заводов Ленинграда. Остановки трамваев перенесены на прежнее место. Начало спектаклей в театре в 7 часов. Все это показывает, что город входит в свое должное русло».

2 марта 1944 г.